



ВОЕННАЯ



БИБЛИОТЕКА



ШКОЛЬНИКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО



«ДЕТСКАЯ



ЛИТЕРАТУРА»

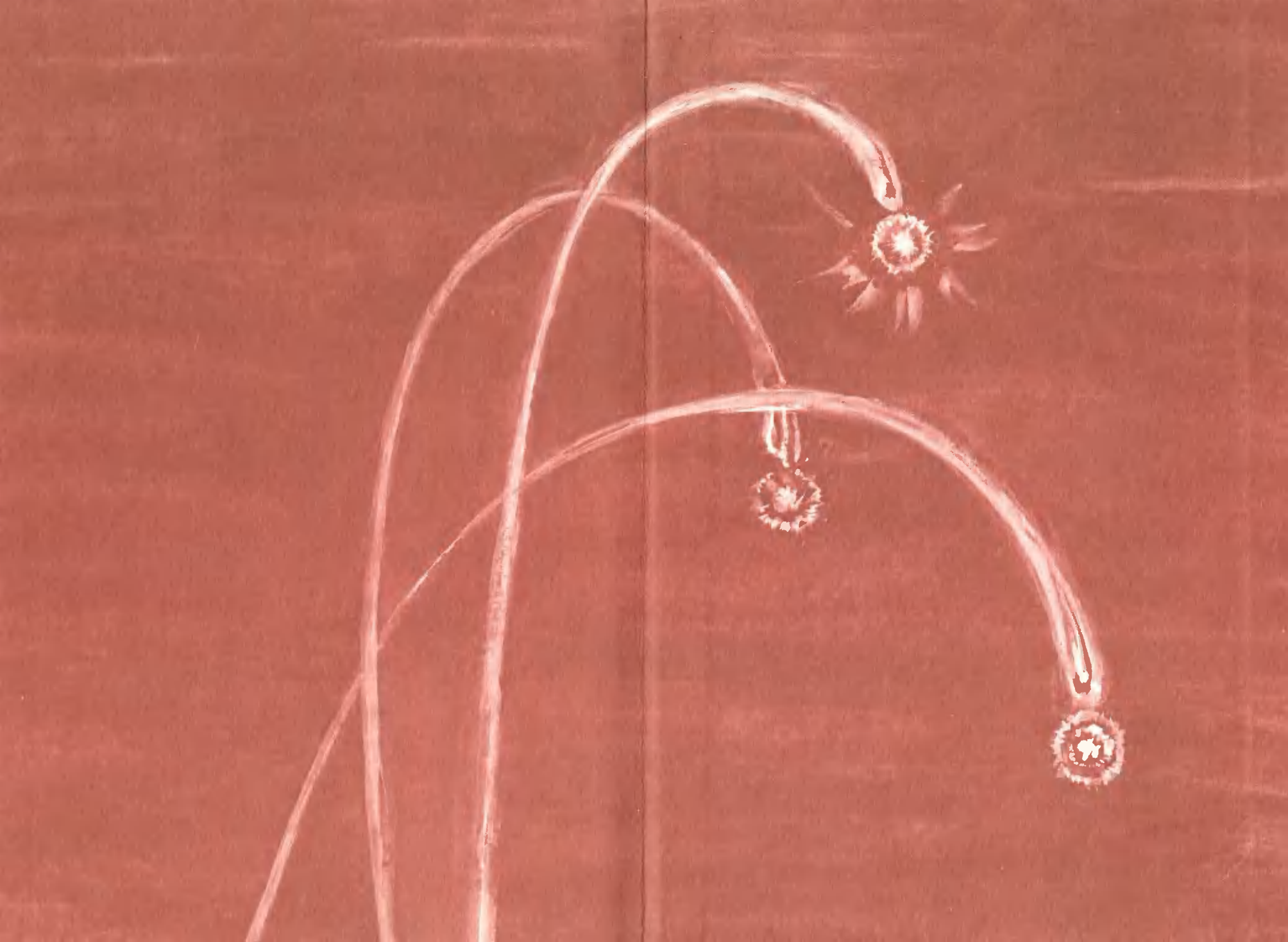


Леонид Соболев

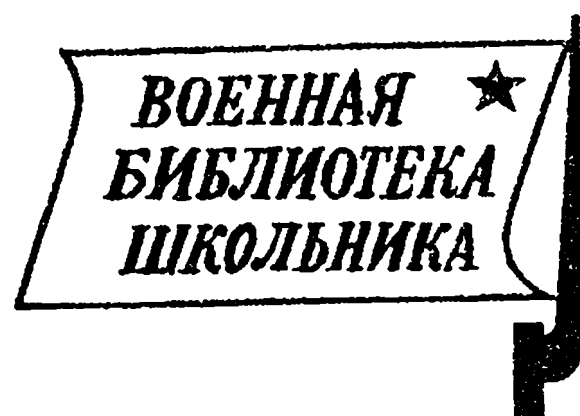
МОРСКАЯ ДУША

БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ





Scan Kreyder - 09.02.2014
STERLITAMAK





Леонид Соболев

*МОРСКАЯ
ДУША*

*БАТАЛЬОН
ЧЕТВЕРЫХ*

Рассказы

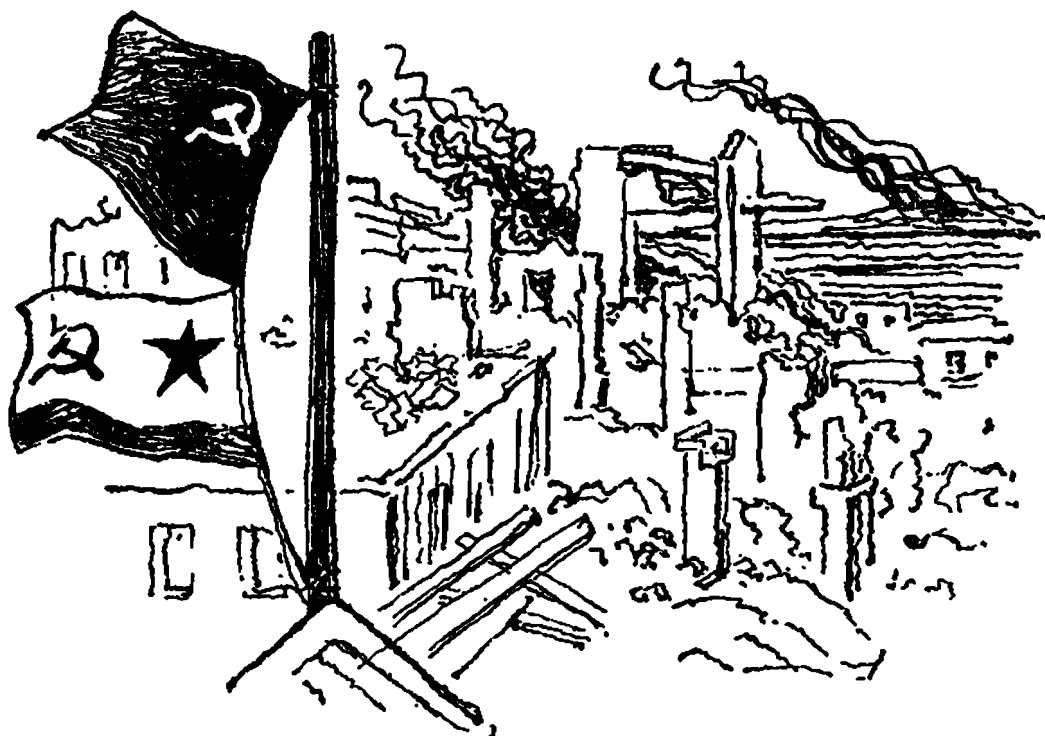
Ленинград
«Детская литература»
1986

Р 2
С 54

**Рисунки и оформление
Ю. Далецкой и Л. Башкова**

© СОСТАВ, ИЛЛЮСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЕ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

С $\frac{4803010102-167}{M101(03)-86}$ (15)—86



НОЧЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

Пора было спуститься поужинать, но старший лейтенант оставался на мостике, вглядываясь в дымчатый горизонт балтийской белой ночи.

Высокий светлый купол неба, где мягко смешивались нежные тона, легко и невесомо опирался на гладкую штилевую воду. Она светилась розовыми отблесками. Солнце, зайдя, пробиралось под самым горизонтом, готовое вновь подняться, и просторное бледное зарево стояло над морем, охватив всю северную часть неба. Только на юге сгущалась над берегом неясная фиолетовая дымка. Наступала самая короткая ночь в году, ночь на 22 июня.

Но для тральщика это была просто третья ночь беспокойного дозора.

Тральщик крейсировал в Финском заливе, обязанный все видеть и все замечать. Здесь проходила невидимая на воде линия границы, и все, что было к югу от нее, было запрещено для чужих кораблей, самолетов, шлюпок и пловцов. Вода к северу от нее была «ничьей водой». Эта «ничья вода» была древней дорогой торговли и культуры, но она же была не менее древней дорогой войны. Поэтому и там надо было следить, не собирается ли кто-либо свернуть к советским берегам: морская дорога вела из Европы, в Европе полыхала война, а всякий большой пожар разбрасывает опасные искры. Дозор выпал беспокойный. Две ночи подряд тральщик наблюдал необычное оживление в за-

падной части Финского залива. Один за другим шли там на юг большие транспорты. Высоко поднятые над водой борта показывали, что они идут пустыми, оставив где-то свой груз, но торопливость, с которой они уходили, была подозрительной. Тральщик нагонял их, подходил вплотную, и на каждом из них был виден на корме наспех замазанный порт приписки — Штеттин, Гамбург, а сверху немецких — грубо намалеванные финские названия кораблей. С мостиков смотрели беспокойные лица немецких капитанов, а над ними на гафеле торопливо поднимался финский флаг. Станный маскарад...

Все это заставляло насторожиться. Поэтому к ночи тральщик снова повернул на запад, поближе к «большой дороге», и старший лейтенант, рассматривая с мостика горизонт, интересовался вовсе не красками белой ночи, а силуэтами встречных кораблей.

Очевидно, он что-то увидел, потому что, не отрывая глаз от бинокля, нащупал ручку машинного телеграфа и передвинул их на «самый полный». Тральщик в ответ задрожал всем своим небольшим, но ладно сбитым телом, и под форштевнем, шипя, встал высокий пенистый бурун.

— Право на борт, — сказал Новиков, не повышая голоса. На мостике все было рядом — компас, рулевой, штурманский столик с картами. И только два сигнальщика, сидевшие на разnojках у рогатых стереотруб, были далеко друг от друга: они были на самых краях мостика, раскинувшегося над палубой от борта до борта, — два широко расставленных глаза корабля, охватывающего весь горизонт. Старший лейтенант наклонился над компасом, взял по нему направление на далекий транспорт и проложил этот пеленг на карте. Он наметил точку встречи и назвал рулевому новый курс.

На мостик поднялся старший политрук Костин — резкое увеличение хода вызвало его вверх, оторвав от позднего вечернего чая (который вернее было бы назвать ночным). Он тоже поднял бинокль к глазам и всмотрелся.

— Непонятный курс, — сказал он потом. — Идет прямо на берег... Куда это он целится? В бухту?

Он обернулся к командиру, но, увидев, что тот, шевеля губами, шагнул от компаса к штурманскому столику, замолчал. Не следует задавать вопросы человеку, который несет в голове пеленги: бормоча цифры, тот посмотрит на вас отсутствующим взглядом, еще пытаюсь удержать в голове четвертушки градусов, потом отчаянно махнет рукой и скажет: «Ну вот...



забыл...» — и вам будет неприятность. Поэтому старший политрук дождался, пока цифры не превратились в тонкие линии на карте, и тогда наклонился над маленьким кружком — местом тральщика в море. Командир провел на западе еще одну линию — курс замеченного транспорта. Она уперлась в восточный проход мимо банки с длинным названием — Эбатрудус-матала.

— Вот куда он идет. Понятно? — сказал он и выразительно взглянул на политрука.

Проход был в «ничьей воде». Он лежал далеко в стороне от большой дороги в Балтику, и транспорту, если он не терпит бедствия, решительно нечего было тут делать. Но проход этот, узкий и длинный, был кратчайшим путем из прибрежной советской бухты в Финский залив. Второй выход из нее вел далеко на запад, в Балтику. Старший политрук понимающе кивнул головой и посмотрел на счетчик оборотов (стрелки их дрожали у предельной цифры), потом опять поднял бинокль.

— Пустой,— сказал он, вглядываясь,— наверное, опять из этих, перекрашенный... Продали они их финнам, что ли? И какого черта ему идти этим проходом, это же ему много дальше? — Он посмотрел на карту.— «Матала» — банка, а «Эбатрудус»? Знакомое что-то слово, и какая-то пакость... Забыл...

Старший политрук учился говорить по-эстонски и тренировался на всем: на вывесках, на встречных лайбах, на газетах и названиях маяков и банок. Он еще пошептал это слово, как бы подкидывая его на языке и беря на вкус, и неожиданно закончил:

— Надо догнать, командир. Ряженный. От него всего жди.

— Догоним,— ответил старший лейтенант. Он вновь взял пеленг на далекий силуэт и подправил курс.

Тральщик полным ходом шел к точке встречи. Легкий ветер, рожденный скоростью, шевелил на мостике ленточки на бескозырках сигнальщиков. Один из них не отрываясь смотрел на транспорт, второй, с левого борта, медленно обводил своей рогатой трубой горизонт. На мостике молчали, выжидая сближения с транспортом. Потом старший политрук огорченно вздохнул.

— Нет, не вспомнить,— сказал он и достал потрепанный карманный словарь. Он полистал его (на мостике было совершенно светло) и радостно закончил: — Говорил я, что

пакость! «Вероломство», вот что! Банка вероломная, или предательская, как хочешь.

— Никак не хочу,— сердито ответил командир, и оба опять замолчали, вглядываясь в транспорт. В бинокль он уже был виден в подробностях — большой и высокий. Гребной винт, взбивая пену, крутился близко от поверхности воды, как это бывает у незагруженного корабля. Транспорт упорно шел к проходу. Через час он мог быть там.

— Слева на траверзе три подводные лодки! Восемьдесят кабельтовых,— вдруг громко сказал сигнальщик на левом крыле.

Командир и политрук одновременно повернулись и вскинули бинокли. Много правее розового зарева низко на воде виднелись три узкие высокие рубки. Лодки, очевидно, были в позиционном положении. Но сигнальщик торопливо поправился:

— Финские катера, товарищ старший лейтенант.— И добавил, оправдываясь: — Рубки очень похожие, а палуба низкая... Три шюцкоровских катера, курс зюйд.

Старший лейтенант пригнулся к компасу и быстро перешел к карте. Он прикинул на ней место катеров и задумался, постукивая карандашом по ладони. Старший политрук молчал: не надо мешать командиру принимать решение. Но, стоя рядом с командиром, Костин тоже оценивал обстановку и думал, как бы он сам поступил на его месте.

Обстановка была сложной: слева — военные катера чужой страны шли на юг к невидимой линии границы, справа — торговый транспорт, перекрашенный и под чужим флагом, шел к важному проходу в «ничьей воде». Тральщик мог повернуть или вправо, или влево, проследить одновременно действия подозрительных гостей он не мог. Давать радио о помощи было бесполезно, даже самолет запоздал бы к месту происшествия. Оставалось решать, куда важнее идти: к катерам или к транспорту?

Но катера были военные, и катера явно шли в наши территориальные воды. Следовательно, нужно было гнаться именно за ними, а не за торговым кораблем в нейтральных водах. Додумав, Костин выжидательно посмотрел на командира.

Очевидно, и тот пришел к такому же решению, потому что скомандовал:

— Лево на борт, обратный курс... Держать на катера! Видите их?

— Вижу, товарищ старший лейтенант,— ответил рулевой, пригибаясь к штурвалу, как будто это помогало ему рассмотреть катера. Они были очень далеко, за дистанцией залпа, и для простого глаза казались низкими черточками на воде.

Тральщик, кренясь, круто покатился влево, а командир, смотря в бинокль, стал с той же скоростью поворачиваться вправо, не выпуская из глаз транспорт. Даже когда тральщик закончил поворот и пошел на катера, командир продолжал стоять к ним спиной.

— Не нравится мне этот транспортюга,— сказал он негромко, и в голосе его Костин уловил тревожные нотки.— Уж больно кстати катера подгадали, что-то вроде совместных действий... Как они там — не поворачивают?

— Идут к границе, далеко еще,— ответил Костин.— Думаешь, старый трюк откалывают?

— Обязательно,— сказал старший лейтенант.— Вот увидишь, сейчас повернут — и начнется петрушка... Плюнуть бы на них и жать полным ходом к транспорту... Да, черт его, как угадаешь?..

Трюк, о котором говорил Костин, был действительно уже устаревшим. Недели три назад сторожевой корабль так же ходил в дозоре и так же заметил два шюцкоровских катера, идущих к нашим берегам. Сторожевик пошел к сближению, и катера тотчас повернули вдоль линии границы. Но едва сторожевик, убедившись в этом, попробовал вернуться к своему району, катера опять пошли на юг, к нашим водам, вынуждая его гнаться за ними. Так, не переходя запретной линии, а только угрожая этим, катера оттянули сторожевик далеко на восток, а на западе меж тем проскочила к берегу шлюпка... Правда, привезенного ею гостя немедленно же словили пограничники, но задачу свою катера выполнили.

Обстановка и в этом случае была похожей: транспорт зачем-то пробирался в проход у Эбатрудус-матала, и катера явно отвлекали внимание дозорного тральщика. Некоторое время они шли еще прежним курсом к границе; потом, убедившись, что они обнаружены и что тральщик повернул на них, катера легли курсом ост и пошли вдоль границы.

— Так, все нормально,— сказал старший лейтенант, когда сигнальщик доложил об этом повороте.— Что же, проверим... Лево на борт, обратный курс!

Тральщик снова повернулся к транспорту. Тот уже был близко от прохода, и, чтобы тральщику застать его там, нужно

было решиться теперь же прекратить преследование катеров и идти прямо к банке Эбатрудус. Старший лейтенант прикинул циркулем расстояние до прохода и поднял голову.

— Эбатрудус, Эбатрудус...— сказал он в раздумье, покачивая в пальцах циркуль.— Так, говоришь — «Вероломная»?

— Или «предательская», как хочешь,— повторил Костин.

— Это что в лоб, что по лбу... Название подходящее... Только что ему там делать? Шпионов на таких бандурах возить — дело мертвое... Хотя, впрочем, из-за борта на резиновой шлюпке спустить — и здравствуйте...

— А черт его знает,— медленно сказал Костин.— Ему и затопиться недолго. Потом скажет — извините, что так вышло, ах-ах, авария, нам самим неприятно, сплошные убытки, а дело сделано...

Война полыхала в Европе, а Европа была совсем близко. Перекрашенный корабль под чужим флагом мог и точно выкинуть любую пакость. А проход был узок, и транспорт, затонувший в нем как бы случайно, мог надолго закупорить для советских военных кораблей удобный стратегический выход. Догадка Костина была близка к правде, и за транспортом надо было глядеть в оба...

— Товарищ старший лейтенант, катера повернули на зюйд,— снова доложил сигнальщик.

Все разыгрывалось как по нотам: теперь тральщик вынужден вновь идти к катерам, те снова отвернут на восток вдоль границы — и все начнется сначала. А тем временем перекрашенный транспорт выполнит ту диверсию, для которой, как вполне был убежден старший лейтенант, он и шел в проход.

Уверенность в том, что транспорт имеет особую тайную цель, была так сильна, что старший лейтенант твердо решил идти к угрожающему проходу, не обращая более внимания на демонстративное поведение катеров. Он сказал об этом Костину, добавив, что катера вряд ли рискнут на глазах у советского дозорного корабля войти в наши воды. Надо тотчас дать радио в штаб с извещением о появлении катеров, а самим следить за транспортом.

Радио дали, и тральщик продолжал идти к проходу у банки Эбатрудус. Маневрирование, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение: теперь точка встречи с транспортом могла быть у самого прохода, а не перед ним. Но все же старший лейтенант надеялся, что, видя возле себя советский военный корабль, транспорт не осмелится ни затопиться, ни

спустить шлюпку с диверсантами, ни принять на борт возвращающегося шпиона.

Однако и решив бросить катера, он то и дело оглядывался, следя за ними. Они упорно продолжали идти на юг. Направление на них показывало, что они все еще не дошли до запретной линии границы. Наконец, проложив очередной пеленг, старший лейтенант сказал:

— Дальше им некуда. Через три минуты повернут.

Но прошло и три минуты, и пять, а катера все еще продолжали идти курсом зюйд. Старший лейтенант тревожно наклонился над компасом: они были уже на милю южнее границы, и не заметить этого на катерах, конечно, не могли. Но они продолжали идти в кильватер головному, не уменьшая хода, и курс их нагло и открыто — на глазах дозорного корабля — вел к советской воде, к советским берегам.

По всем инструкциям дозорной службы тральщик был теперь обязан преследовать катера. Но ясно было, что катера и транспорт действуют совместно, решая одну задачу. Откровенный и наглый переход границы должен был заставить тральщик все-таки кинуться за ними, бросив транспорт в проходе у банки Эбатрудус. Что он мог там сделать — было еще непонятно, но оба, и командир, и политрук, были убеждены, что все дело сводилось к нему. Надо было быть возле него, чтобы помешать ему сделать то неизвестное, но опасное, что угадывалось, прощупывалось, чувствовалось в его настойчивом и странном стремлении к проходу.

Транспорт был уже хорошо виден. И тогда на гафеле его поднялся большой флаг.

— Товарищ старший лейтенант, транспорт поднял германский торговый флаг, — тотчас доложил сигнальщик с правого борта, и командир вскинул бинокль.

Это был флаг дружественного государства, связанного с Советским Союзом пактом о ненападении, договорами и соглашениями. Торговый корабль этого дружественного государства шел в нейтральной воде, там, где он имел право ходить как ему угодно.

Он шел пустой, без груза, осматривать на нем было нечего и задержать его для осмотра или предложить ему переменить в «ничьей воде» курс означало бы вызвать дипломатический конфликт. Отчетливо видный в ровном рассеянном свете белой ночи, льющемся со всех сторон высокого неба, флаг дружественной державы, поднятый на транспорте, резко менял об-

становку. Оставалось одно: повернуть к военным кораблям, нарушившим границу.

Но старший лейтенант медлил.

Он продолжал смотреть на флаг, не опуская бинокля, и глаз его Костину не было видно — руки открывали только нижнюю часть лица. Губы командира дважды выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то сказать, но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желвак: он плотно стиснул челюсти. Долгую минуту, которая Костину показалась часом, командир молчал. Потом он опустил бинокль и повернул лицо к своему заместителю — и тот поразился перемене, которая произошла в нем за эту минуту.

— Война,— сказал старший лейтенант негромко, не то вопросительно, не то утверждающе.

Над Европой полыхал пожар войны, ветер истории качнул языки пламени к Финскому заливу, сухой и грозный его пожар вмиг иссушил это живое, почти мальчишеское лицо. Он стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы. В такие минуты военные люди, как бы молоды они ни были, сразу становятся взрослыми.

Это веселое простое лицо молодого советского человека, привычное лицо командира и друга, было новым и незнакомым. Новыми были эта складка на лбу, крепко сжатые челюсти, странная бледность розовых щек,— или так играла на них белая ночь? — незнакомым был серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд веселого и жизнерадостного командира, которого больше хотелось называть Колей, чем товарищем Новиковым или, как полагается по службе, «товарищ старший лейтенант». И сразу тихая белая ночь, нежные краски воды и неба, последняя ночь привычного, надоевшего дозора, далекая база с друзьями, с семьей, театром и обычной воскресной поездкой за город — все исчезло, стерлось, заволочлось горячим и тревожным дыханием войны.

Транспорт надо было остановить или заставить отвернуть от прохода. Но он имел право не подчиниться сигналу. Тогда следовало дать по нему предупредительный выстрел. Этот выстрел мог быть первым из миллионов других.

— Отсалютовать флагом! — скомандовал старший лейтенант.— Лево на борт!

Он наклонился над картой и быстрым движением проложил курс на северо-восток — к катерам.

— Не уйдут,— сказал он Костину.— Мы ихотрежем.

Транспорт, продолжая держать на гафеле флаг, уходил к банке Эбатрудус. Старший лейтенант проводил его долгим выразительным взглядом и потом надавил кнопку. Резкий звонок боевой тревоги прозвучал в тишине белой ночи. Тральщик увеличил ход, орудия его зашевелились.

Спокойно плыла над морем белая тихая ночь. Это была самая короткая ночь в году — ночь летнего солнцестояния. В эту ночь черные тяжелые бомбовозы уже несли по легкому, высокому и светлому небу большие бомбы, чтобы скинуть их на города Советской страны, мирно отдыхающие под воскресенье. В эту ночь фашистские танки уже шли к границе в военный поход на Советский Союз. В эту ночь фашизм рвал договоры и пакты, совершая никого уже не изумляющее новое предательство. В эту ночь — самую короткую ночь в году — история человечества вступила в новый период, который потом будут называть периодом восстановления прав человека на земном шаре, загаженном страшной, мрачной силой фашизма.

Катера заметили поворот советского тральщика. Они тотчас повернули на север и полным ходом стали уходить из территориальных вод, стараясь как можно скорее уйти на «ничью воду», где советский корабль уже не сможет их обстреливать.

На мостике тральщика была боевая тишина. Ровно гудели вентиляторы, низко рычало в дымовой трубе горячее бесцветное дыхание топок. И только один голос звучал в этой тишине — дальномерщик каждые полминуты называл расстояние до катеров. Оно медленно, но неуклонно уменьшалось, но было еще слишком далеко для верного залпа. Носовое орудие, задрав до самого мостика ствол, пошевеливало им в стороны, как бы нюхая в воздухе след уходивших катеров.

Это была погоня — напряжение всех механизмов, молчаливое выжидание залпа, умный точный выигрыш на каждом градусе курса. Катера не могли полностью использовать свое превосходство в скорости: не рассчитав маневра, они слишком далеко спустились за линию границы. Теперь справа им мешали островки, и оставалось только уходить от островков под углом к курсу тральщика. А это означало, что раньше, чем они выйдут на «ничью воду», они сблизятся с тральщиком на дистанцию его артиллерийского залпа.

Видимо, на катерах поняли всю опасность этого сближения, потому что под кормой головного вырос белый бурун и осталь-

ные стали заметно отставать. Потом и у них за кормой показалась пышная пена — катера дали предельный ход. Его не могло надолго хватить, и весь вопрос был теперь в том, успеют ли они выскочить за невидимую роковую линию или до этого сблизятся с тральщиком.

Старший лейтенант, казалось, совсем забыл о транспорте. Теперь им овладело одно стремление — догнать и атаковать катера, пока они находятся еще в наших водах. Он дважды до отказа передвинул рукоятки машинного телеграфа, и, очевидно, этот сигнал, требующий от людей и механизмов невозможного, был понят: тральщик дал ход, которого он до сих пор не знал. Дистанция снова начала уменьшаться.

Но все же она уменьшалась слишком медленно. Катера все ближе подходили к заветной грани. Через пять-шесть минут они будут на нейтральной воде, и пограничный конфликт опять перерастет в дипломатический, угрожающий войной. Не пойманный — не вор: уничтоженные в советских водах катера считались бы бандитами, уничтоженные в «ничьей воде» — они были бы военными кораблями, на которых напал первый советский военный корабль.

Старший лейтенант быстро перешел к карте, хотя она вся была у него в голове. Он наклонился над столом, но сбоку ему протянул листок шифровальщик.

— Товарищ старший лейтенант, экстренное радио по флоту.

— Старшему политруку дайте,— сказал он нетерпеливо.

Сейчас ему было не до телеграммы, даже если в ней сообщалось о вылете самолетов: катера уже были у «ничьей воды»...

Нужно было немедленно выдумать что-то, что помогло бы их поймать. Он всматривался в карту, требуя от нее ответа, хотя отлично знал, что другого маневрирования не придумаешь. Если бы граница была хоть на две-три мили севернее!.. Тогда катера были бы вынуждены сами еще отклонить курс в сторону тральщика — острова прижали бы их на запад — и вошли бы в сферу его действительного огня. Но граница была там, где она была, и ничего нельзя было сделать...

— Уйдут,— сказал старший лейтенант сквозь зубы и с отчаянием повернулся к Костину.

Он хотел сказать ему, что попался на удочку, медля возле транспорта, что катера успели сделать свое дело у берегов и теперь безнаказанно уходят, но старший политрук молча протянул ему бланк радиогаммы. Командир прочел, поднял на

него глаза, снова прочел бланк, потом бережно сложил его вчетверо и спрятал в боковой карман кителя.

— Товарищ старший политрук, — сказал он официально, — объявите на мостике и по боевым постам. Первая задача — катера.

Солнце уже встало над морем, и вся таинственная невнятность белой ночи давно исчезла. Трезвая и ясная бежала за бортом вода, ясно и прозрачно было голубое небо. Блестела на мостике краска, и ярко трепетали на быстром ходу цветные флажки-флюгарки. Начинался день, первый день войны, и в мыслях, во всем существе была та же ясность, трезвость и прозрачность.

Все стало на свое место: враг есть враг, и никакие дипломатические сложности, никакие условные линии границ, которых не видно на море, не стесняли более действий тральщика. Радиограмма была короткой. В ней сообщалось о нападении гитлеровской Германии на наши города и приказывалось атаковать противника при встрече.

Огромное спокойствие овладело Новиковым. Как будто лопнул где-то внутри давний старый нарыв, мучивший и беспокоивший, стеснявший движения и мысль. Ему показалось, что эта белая невнятная ночь, транспорт, катера, неизвестность, что делать и за кем гнаться, были давным-давно, несколько лет назад. Он даже удивился, как это мог он так мучиться и колебаться. Теперь он неторопливо подошел к компасу, удобно пристроился к нему и стал ожидать терпеливо и спокойно, когда катера сделают вынужденный поворот и сами приблизятся к его курсу. Впереди было много воды, ясность и победа.

Так его и застал старший политрук, когда вернулся на мостик. Он сообщил, что краснофлотцы приняли сообщение именно так, как он и ожидал: спокойно, почти не удивляясь, не разменивая ненависть к врагу на крик и угрозы. Краснофлотцы просили передать командиру, что к бою с врагом Родины, революции и человечества они готовы.

— Про катера сказал? — спросил старший лейтенант.

— Про катера я не говорил, — негромко сказал Костин и наклонился к нему. — Ты малость погорячился, Николай Иванович. Ничего с ними не изменилось: Финляндия пока с нами не воюет. Она, может, только наших снарядов и ждет, чтобы поднять крик на весь мир.

Он сказал это мягко и осторожно. Так говорят другу о неожиданно постигшей его беде, так опытный врач сообщает

больному о перемене к худшему. Он слишком хорошо знал своего командира (и просто Колю Новикова), чтобы не понимать, каким ударом будет для него это сообщение.

Старший лейтенант продолжал стоять у компаса в той же спокойной позе. Только карандаш в его руках, с которым он отошел сюда от карты,— карандаш, которым был проложен беспощадный курс, отрезающий катерам выход,— внезапно хрустнул. Ровный голос дальномерщика продолжал отсчитывать дистанцию. Она была близка к дистанции огня, еще пять минут — и можно было открывать огонь. Тральщик, дрожа, мчался вперед, носовое орудие по-прежнему нюхало след врага, но весь план боя рухнул.

Старший лейтенант поднял руку и выбросил обломки карандаша за борт. Потом он повернул пеленгатор на катера и прильнул к нему глазом. Сбоку Костин увидел этот пристальный, немигающий взгляд — и снова поразился: второй раз за эти немногие часы веселый молодой командир повзрослел еще на несколько лет.

— Ясно. Ушли. Право на борт, трал к постановке изготовить,— скомандовал старший лейтенант и поднял голову от пеленгатора. Он посмотрел на Костина, и где-то в глубине глаз тот на миг увидел прежний взгляд Коли Новикова, горячего, неукротимого парня, выдумщика и упрямца, человека смелых, но слишком быстрых поступков.

— Эх, и прижал бы я их к островкам, и раскатал бы как маленьких! — протянул он, покачивая сжатым кулаком.— Ведь что обидно, Кузьмич: на них те же немцы сидят, это как факт, все же теперь ясно... Да, я понимаю,— остановил он Костина,— я все понимаю... Предлагаю перейти к очередным делам. Пойдем посмотрим, что там эта гадюка наделала...

Он дал телеграфом уменьшение хода и повел Костина к карте.

Через полтора часа тральщик с заведенными фортралами подходил к проходу у банки Эбатрудус. Здесь не было никого — транспорт «дружественной державы» давно ушел в Балтику западным дальним проходом, и нагнать его не было возможности.

Был совершенный штиль, зеленая вода лежала ровно и гладко, и рябь не затуманивала ее прозрачной глубины. В ней отчетливо были видны красные буйки фортрала — они плыли над водой, как плотные, упитанные дельфины, изредка резвясь и вскидываясь на поверхность, но тотчас увлекаемые на нужную

глубину оттяжками и рулями. Прочные тросы, проведенные к ним с форштевня, защищали тральщик от встречи с миной. Раздвигая перед собой воду, водоросли и минрепы, тральщик осторожно вошел в проход.

И в самом узком месте прохода из правого трала всплыла подсеченная им мина.

Освобожденная от удерживавшего ее на глубине минрепа, перебитого тралом, она с легким всплеском выскочила из воды и осталась на поверхности — первая мина новой большой войны. Финский залив, вдоволь наглотававшийся мин за годы первой мировой и гражданской войн, вновь почувствовал их надоедливый металлический вкус. И может быть, поэтому он так охотно и быстро выплюнул эту первую мину, едва трос, удерживавший ее в зеленой глубине, встретился с советским очистительным тралом. Она медленно кружилась на неподвижной воде, показывая свои длинные рожки — обнаженные нервы, не терпящие прикосновения, — огромная черная круглая смерть.

Ее уничтожили, как гадюку, меткой пулеметной очередью. Зашипев, как гадюка, она медленно погрузилась и пошла на дно, выпустив темный дым из мерзкого своего существа. Пули, не вызывая взрыва, продырявили ее корпус — командир решил утопить ее без шума, чтобы не привлекать внимания.

Но вторая подняла этот нежелательный шум: правый трал неудачно задел ее рожок и столб воды, дыма и металла встал рядом с тральщиком. Страшное сотрясение всего корпуса выбило из зажимов рубильники, в кочегарке и в машине потух свет. Рулевой повернул голову к старшему лейтенанту и, стараясь не повышать голоса, доложил, что рулевое управление вышло из строя, и потом отряхнулся от воды, упавшей с неба на мостик прохладным, свежим душем. Через минуту на мостике зазвонил телефон, из машины сообщили, что все нормально и что рубильник теперь зажат намертво, все должно работать — и руль, и приборы, и свет.

Тогда новый столб воды с левого борта, новый звуковой удар потряс людей — и вот красный упитанный дельфин всплыл рядом с бортом. Тральщик остался без фортралов.

Старший лейтенант застопорил машину.

Было неизвестно, на какую глубину поставил мины транспорт, так оправдавший название банки Эбатрудус. Предательское заграждение, выставленное торговым кораблем без объявления войны, несомненно, было рассчитано и на

мелкосидящий тральщик, гнавшийся за транспортом. Поэтому продвижение вперед без фортрала было опасным. Заводить новые буйки здесь, на заграждении, было бессмысленно: трал начинал работать при определенной скорости хода, а развивать эту скорость на минах было нельзя. Уйти задним ходом тоже нельзя было: струя винтов сама подтащила бы к корпусу тральщика покачивающиеся под водой мины.

Старший лейтенант в раздумье смотрел в воду. Спокойная и неподвижная, она была прозрачна. Он поднял голову и взглянул на Костина:

— Я думаю, проползем, если с умом взяться? Не ночевать же тут.

— Попробуем,— ответил Костин, поглядывая в воду.— Все равно до самой смерти ничего особенного не будет.

Командир наклонился с мостика и объявил краснофлотцам, что надо делать.

Приготовились к худшему — достали спасательные средства, вывалили за борт шлюпки. На баке, по бортам, на корме встали наблюдатели. Дали воде совершенно успокоиться и восстановить свою прозрачность. И тогда старший лейтенант дал малый ход — несколько оборотов винтов — и тотчас застопорил машины.

Медленно, как бы ощупью, тральщик двинулся вперед. Напряженная, строгая тишина стояла на мостике, на палубе, в машине, в кочегарке. И в этой тишине раздался возглас наблюдателя с бака:

— Мина слева в пяти метрах, тянет под корабль!

Новиков и Костин перегнулись с левого крыла мостика.

Мина и точно была видна. Она стояла на небольшой глубине, дожидаясь прохода тральщика. И как ни медленно и ни осторожно он шел, увлекаемая им масса воды заставила мину дрогнуть на минрепе, качнуться и двинуться к борту тральщика.

Неторопливо поворачиваясь и как бы целясь своими рогами в борт, она подходила ближе.

Но этим рогам был нужен удар определенной силы — иначе мины рвались бы сами от удара волны, от наскочившей на них сдуру крупной рыбы. И на этом был построен весь расчет старшего лейтенанта: пройти медленно, по инерции, может быть и касаясь мин и их рогов, но касаясь осторожно, без удара.

И тральщик медленно шел вперед, и еще медленнее текло время. Страшной эстафетой — страшной в своей деловитости

и спокойствии — шла вдоль борта к корме перекличка наблюдателей:

— Мина слева в трех метрах. Уходит под корабль.

— Мина у борта, плохо видно.

— Ушла под корабль у машинного отделения.

Томительно и грозно наступила большая пауза. Мина шла под дном корабля. Она шла медленно, вероятно поворачиваясь и царапая днище. Возможно, что колпаки не сомнутся. Но возможно и другое. Сделать больше ничего нельзя, надо ждать.

И на тральщике ждали. Краснофлотцы смотрели вниз: те, кто стоял на палубе, — в воду, те, кто был внутри корабля, — на железный настил. И только двое, подняв головы, смотрели на небо — это были два сигнальщика, искавшие в голубой яркой высоте черную точку. Старший лейтенант был убежден, что вот-вот должен появиться фашистский самолет — транспорт наверняка сообщил по радио о преследовании его тральщиком.

О мине под днищем никаких сведений больше не поступало. Зато с бака опять раздался спокойный голос боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, вторая. Справа в шести метрах.

— Докладывайте, как проходит, — сказал старший лейтенант, всматриваясь. С мостика она еще не была видна.

— На месте стоит, товарищ старший лейтенант. То есть мы стоим, хода нет.

— Так, — сказал старший лейтенант и повернулся к Костину. — Интересно, где первая? Может быть, уже под винтами... Рискнуть, что ли?

— На Волге шестами отпихиваются, а тут глубоко, — ответил тот. — Хочешь не хочешь, а крутануть винтами придется. Давай, благословясь.

Старший лейтенант передвинул ручки телеграфа, поймав себя на том, что старается сделать это осторожно, как будто от этого зависела сила удара винтов. В машине старшина-машинист переглянулся с инженером, и оба опять невольно посмотрели себе под ноги. Потом старшина приоткрыл стопорный клапан, и винты дали несколько оборотов. Стрелка телеграфа опять прыгнула на «стоп», и пар перекрыли.

Тральщик получил чуть заметный ход. Тогда сразу раздалось два одновременных возгласа:

— Вышла из-под днища на правом борту, всплывает!

— Справа мина проходит хорошо!



А с бака вперебивку раздался тонкий тенорок боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, третья слева, в трех метрах, тянет под корабль!

— Спички у тебя есть, Николай Иванович? — вдруг спросил Костин.

Старший лейтенант покосился на него неодобрительно: никогда не курил, а тут... Он достал спички и нехотя протянул ему. Старший политрук аккуратно вынул две спички и положил их на стекло компаса.

— Две прошло,—пояснил он.—Запутаешься с ними, так вернее будет.

Командир засмеялся, и Костин увидел, что перед ним прежний Новиков — жизнерадостный, веселый, молодой. Глаза его блестели прежним озорным блеском, и тяжелая непривычная складка на лбу разошлась.

— А ведь вылезем, Кузьмич! Смотри, как ладно идет!

— Ты сплюнь,—посоветовал ему Костин.—Не кажи «гоп», пока не перескочишь... Неужто всю коробку на компас выложу? О четвертой докладывают.

Но коробки хватило. Через двадцать три минуты тральщик очутился на чистой воде, и Костин бережно собрал со стекла двенадцать спичек.

Тральщик весело развернулся на чистой воде, завел тралы и снова пошел на заграждение, освобождая от мин важный для флота проход у банки Эбатрудус. Солнце подымалось к зениту, наступал полдень первого дня войны и первого за последние полгода дня, который был короче предыдущего. Солнце повернуло на осень. Впереди были холодные дни, дожди, сырость, мрак — зима, ожидающая фашистские полчища. Впереди был бесславный конец начатой ими в этот день гибельной войны.

Мощный» нес незаметную службу: вечно заваленный до самой трубы бочками, тюками, ящиками, он ходил с разными поручениями в Ленинград, на форты, в Ораниенбаум, перетаскивал баржи и шаланды, глубокой осенью настойчиво пробивался во льду, задорно наскакивая на льдины своим высоким и острым форштевнем. Порой он пыхтел на рейде, разворачивая огромную махину линкора, для чего, однако, ему требовалась помощь «Могучего» и «Сильного», ибо мощностъ «Мощного» заключалась главным образом в его названии: это был обыкновенный портовый буксир полуледокольного типа, невзрачный и трудолюбивый работяга на все руки.

Тем не менее Григорий Прохорыч, бессменный его капитан, всерьез обиделся, когда портовые маляры к началу кампании замазали гордое слово «Мощный» и вывели на бортах невыразительные знаки «КП-16», что значило «буксир № 16 Кронштадского порта». В виде протеста Григорий Прохорыч, выпросив у маляров той же краски, собственноручно подновил надпись «Мощный» на всех четырех спасательных кругах и на пожарных ведрах.

— Капе, капе... что за капе, да еще шестнадцатый? Корабль имя должен иметь, а не номер,— жаловался он за вечерним чаем дружку своему, машинисту Дроздову, которого величал «старшим механиком».

Оба они, старые балтийские моряки, служили на «Мощном» по вольному найму, служили плотно и устойчиво добрый десяток лет, оба были приземисты, суровы и в свободное время гоняли чай в количестве непостижимом.

— Так разве ж это корабль? — отвечал тот, с хрустом надкусывая сахар.— На кораблях мы с тобой, Григорий Прохорыч, свое отплавали... Бандура это, а не корабль...

Здесь опять начинался горячий спор, имевший многолетнюю давность. Дроздов, человек склада трезвого и иронического, любил подразнить капитана, который считал свой буксир кораблем, наводил на нем военный порядок и воспитывал в почтении к чистой палубе молодежь, в особенности Ваську Жилина, занозистого кронштадтского паренька, а от своего «старшего механика» беспощадно требовал, чтобы «Мощный»

не дымил, как паровоз, а ходил без дыма, как и полагается военному кораблю.

Перемена названия огорчила Григория Прохорыча гораздо больше, чем мог предполагать это Дроздов. Если «Могучий», «Сильный» и прочие буксиры-близнецы, волей порта превращенные в номерные КП, были для других капитанов только местом довольно беспокойной службы, то для него «Мощный» был к о р а б л е м. А в понятие «корабль» Григорий Прохорыч за тридцать с лишком лет своей флотской службы привык вкладывать огромное содержание.

Но добиваться, что именно означает для него корабль, было бы так же бесполезно и жестоко, как требовать от матери точных разъяснений, что представляет для нее ее ребенок и на основании каких именно данных она страстно верит в то, что сын ее — лучше, красивее, виднее других.

Корабль был для него смыслом и содержанием жизни. Пожалуй, этой общей фразой вернее всего будет передать все то, что заставляло его рисковать порой здоровьем, отдавать кораблю все силы и чувства, двадцать лет подряд вскакивать задолго до пробудки и осматривать палубу, шлюпки и краску, соображая, с чего начать дневные работы, чтобы корабль был всегда нарядным, подтянутым, чистым и великолепным, — ибо двадцать лет подряд Григорий Прохорыч был боцманом: на крейсерах, потом на учебных кораблях и, наконец, на линкоре.

При этих переходах с корабля на корабль, он испытывал всегда одну и ту же смену чувств.

Сперва это была острая горечь расставания с командой, с которой он сжился и вместе с которой терял друзей и учеников, оставляя в них самого себя; со знакомой палубой, где каждый уголок был для него историей; со шлюпками, в быстрый ход и в ослепительную белизну весел которых было вложено так много его боцманского труда. Эту горечь расставания сменяло неодобрительное недоверие к новому кораблю и его команде: все было непривычно, все выглядело иначе, люди все незнакомые, ни на кого нельзя положиться и везде требовался свой глаз — и стопора якорного каната захватывали звенья не по-человечески, и шпиль заедал, и шлюпки были какими-то неуклюжими, как рыбацьи лодки.

Но силой великого понятия «свой корабль» все вскоре чудесно преображалось: и стопора оказывались самыми надежными, и шлюпки самыми изящными и быстрыми на всем флоте, и в команде обнаруживался какой-либо самый лучший на



все корабли плотник или маляр, и опять знакомой гордостью билось сердце при взгляде со стенки или с катера на этот новый, недавно еще чужой, корабль. А прежний — смутным и дорогим видением отходил в глубины чувства и памяти, жил там непререкаемым примером всего самого лучшего, быстрого и толкового: «А вот у нас на «Богатыре» выстрела¹ в полминуты заваливали, и какие выстрела!» И боцманская дудка давала тяге талей и брасов богатырский темп, и огромные бревна, взмахнув одновременно, как длинные узкие крылья, за полминуты плотно прижимались к высоким бортам «Океана» совершенно так же, как и на «Богатыре». И только при встрече в море или стоя рядом в гавани с прежним своим кораблем, Григорий Прохорыч ревниво всматривался в него, ища знакомые и милые сердцу черты и по привычке приглядываясь, плотно ли занайтовлены шлюпки и не висят ли из-под чехлов концы.

Привязанность Григория Прохорыча к военному кораблю, к его налаженности, порядку, силе и чистоте легче всего было объяснить чувством местного патриотизма. Но удивительно было то, что за годы службы все эти корабли, каждому из которых он отдавал частичку своего сердца, неразлично смешивались в одно общее понятие — корабль.

Именно это понятие заставило его вместе с шестью такими же старыми балтийскими матросами бросить в Гельсингфорсе надежную и родную палубу крейсера и с малым чемоданом, в котором лежали хлеб, консервы и кой-какой инструмент, кинуться на миноносец «Пронзительный»; на том почти не было команды, а к городу подходили немецкие войска, и флот должен был немедленно уходить сквозь тяжелые льды в Кронштадт, чтобы не оставить военные корабли под сомнительной защитой бумажных пунктов мирного договора. «Пронзительный» стоял в самом городе, в Южной гавани. Он прижался к стенке, и все четыре его орудия встали на нем дыбом, как шерсть на маленьком, но отважном щенке, готовом ринуться в схватку, не обещающую ему ничего доброго, — горячие головы оставшихся на нем матросов не задумывались бы дать залп по белофинским или немецким отрядам, если только они посмеют коснуться красного флага, трепетавшего на кормовом флагштоке беспомощного корабля.

¹ В ы с т р е л — горизонтальное бревно, отваливаемое перпендикулярно к борту корабля для привязи шлюпок.

Матросы с крейсера, среди которых был один членом Центрбалта, разъяснили морякам «Пронзительного», что стрелять нельзя, потому что все-таки мир, а вот уходить надо во что бы то ни стало. А стало это во многое: людей на миноносце было раз-два и обчелся, машины устали от трехлетних дозоров и штормов, из командного состава не покинул корабля только один бывший минный офицер. Тем не менее «Пронзительный» принял за ночь уголь, подправил неполадки в машине и котлах и в тот самый день, когда на экспланаде, упиравшейся в гавань, защелкали уже выстрелы немцев, отдал швартовы и ушел в лед.

Четырнадцать суток он пробивался в ледяных полях, ловчась попасть в извилистую щель, оставленную во льду прошедшими перед ним кораблями. Два дня удалось отдохнуть: его подобрал на буксир транспорт. Но на третий день они обогнали застрявшего во льду «Внимательного», у которого начисто был сворочен на сторону его длинный таран и обломаны оба винта. «Пронзительный» уступил ему свое место на буксире и пошел опять пробиваться сам. Льдины порой сжимались, и тогда слабенький корпус миноносца трещал, зажатый огромным ледяным полем, которому раздавить корабль представляло столько же трудности, сколько створке ворот хрустнуть костями цыпленка. Прохорыч кидался в трюм, клал там ладонь на вздрагивающую сталь обшивки — и под ней явственно ощущался холодный и тяжелый напор льда. Разбили шлюпки — все дерево на корабле ушло на подкрепцы шпангоутов, в отчаянии выбирались задним ходом из предательской холодной щели, неумолимо зажимавшей борта, и однажды обломали себе на этом правый винт. Пошли под одним, хромая, — но все же шли и шли, шли вперед, в родимый Кронштадт. Возле Гогланда острая льдина все-таки пропорола борт в правой машине, и четверо суток Прохорыч провел по колени в ледяной воде, откачивая на смену с другими воду, все прибывающую в зазорах спешно сооруженного им пластыря. С тех пор и въелся в него тот отчаянный ревматизм, от которого он криком кричал перед непогодой и который не давал с прежней живостью носиться по палубе того корабля, где он был боцманом.

Все это было сделано во имя маленького чужого ему корабля, на котором он даже не плавал, и поэтому вернее было бы говорить не о любви к кораблю, а о любви к флоту. Но Григорий Прохорыч никогда не вдавался в глубокий анализ своих чувств и служил флоту попросту — так, как умел и как чувствовал.

Ревматизм и привел его на «Мощный». Лет десять тому назад, после торжественного подъема флага в день Октябрьской годовщины, командир и комиссар линкора перед фронтом всей команды поздравили его с двадцатипятилетием службы на Балтийском флоте и вручили золотые часы с надписью. Потом комиссар в каюте повел речь о том, что если ему понатужиться и сдать кое-какие экзамены, то его переведут в средний комсостав и сделают на линкоре вторым помощником командира. Перспектива эта не на шутку испугала Григория Прохорыча, да и годы давали себя знать вместе с ревматизмом. Он признался комиссару, что последнее время думает не о повышении, а об уходе на покой (потому что служить по-настоящему трудновато), но что не одну ночь он проворочался без сна перед страшным призраком безделья на берегу. Набравшись духу, он попросил себе спокойного места на маленьком корабле, где полегче, но только не на берегу, где с непривычки ему долго не протянуть.

Так он стал капитаном «Мощного» и с первого же дня завел на нем настоящие флотские порядки: нормальную приборочку с драйкой палубы и чисткой железа и медяшки, форму одежды, воинскую дисциплину, которой не очень охотно подчинялся вольнонаемный экипаж, и даже добился того, что по утрам с подъемом флага весь его «комсостав», то есть «старший механик» и боцман, ходивший у него в чине «старшего помощника», рапортовал ему о том, что на вспомогательном корабле «Мощный» особых происшествий не случилось.

В порту посмеивались над чудачествами старика, не сумев разобратся в их истинной высокой природе, но вскоре с удивлением заметили, что на «Мощном» и старенькие машины реже ломаются, и на палубу приятно ступить, и все поручения выполняются точно и быстро, и что в любое время суток «Мощного» можно выслать куда угодно, потому что капитан всегда на корабле, а команда уволена в город с таким расчетом, чтобы с остальными можно было немедленно развести пары и выйти из гавани. Правда, на «Мощном» не раз сменялся весь личный состав, набираемый из кронштадтской вольницы, пока не подобрались на нем люди, в той или иной степени разделявшие взгляды Григория Прохорыча на флотскую службу, под каким бы флагом она ни протекала — под синим портовым или под военным.

И хотя он все же нашел для самолюбия лазейку, разъяснив Дроздову, что подводные лодки тоже называются номерами —

С-1, Щ-315 — и поэтому в конце концов в наименовании КП-16 особой обиды нет, но буквы и цифры эти он употреблял только в документах и на палубе и в порту упорно продолжал называть КП-16 «Мощным».

Через полтора месяца после этого события «Мощный» возвращался в Кронштадт, сдав далекой батарее провизию, газеты, снаряды, новый патефон и приняв пустую тару. Осенний день выдался тихий и солнечный, и Прохорыч позволил себе спуститься в каюту—погонять чаек. Но на шестом стакане в светлый люк просунулась с верхней палубы голова Дроздова:

— Эй, капитан, живыми ногами наверх! Полюбуйся-ка!

В голосе его было такое ехидство, что Прохорыч встревоженно вылетел на палубу — и ахнул.

Контркурсом с «Мощным» расходился невиданный, великолепный корабль. Стремительный, низкий, гудящий сильными вентиляторами, ладный и стройный, он мчал на себе по морю длинные стволы орудий, широкогорлые торпедные аппараты, точные разлапистые дальномёры, хитрые радиоприборы — всю эту военную мощь, экономно и умно расположенную над сильными машинами и котлами. Безупречные обводы его корпуса разрезали сверкающую воду, а за кормой, словно прилипнув, стоял пенистый бурун, доказывающий ту огромную быстроту, с которой летела по воде эта отлитая в металл воля к победе.

И Григорий Прохорыч, любуясь новым красавцем, вступившим в строй, наставительно подмигнул Дроздову:

— Учись, механик: идет, что торпеда, а дым где?

И точно, над низкими трубами миноносца чуть дрожал прозрачный горячий воздух: вся горючесть нефти была поглощена его котлами без остатка. Но Дроздов ядовито кивнул на него.

— Ты не на трубы смотри... Грамотный?

Григорий Прохорыч взглянул и насупился: острым морским взглядом он отчетливо разобрал на корме надпись «Мощный». Васька Жилин, дождавшись этого, откровенно захохотал, но тут же осекся, ибо Григорий Прохорыч повернулся к нему грознее тучи:

— Вахтенный! Почему не салютуешь? Устава не знаешь?..

Васька тотчас прыгнул к мачте и поспешно приспустил флаг, а Прохорыч скомандовал «смирно», приложив ладонь к старой своей боцманской фуражке, и замер так недвижимой статуей:

невысокий, плотный, седеющий балтийский моряк с обветренным коричневым лицом.

И было в этой его неподвижности что-то такое торжественное, что притих и смешливый Васька, перестал улыбаться и Дроздов, подтянулись и остальные «вольнонаемные», вылезшие на палубу глянуть из-за ящиков и бочек на чудесное видение свежей, юной силы Балтийского флота. В тишине слышался лишь торопливый и трудолюбивый стукоток поршней одного «Мощного» и ровный могучий гул турбин и вентиляторов другого. На гафеле миноносца дрогнул распластанный ходом новенький флаг — белый с синей полосой, с красной звездой и советским гербом. Он приспустил на миг, отвечая поклону старенького синего портового флага, и вновь взлетел на гафель.

Миноносец промчал мимо, и тогда пологая бесшумная волна, рожденная бешеным вращением его винтов, добежала до буксира и легко, без усилия повалила его на борт. По палубе загремели ящики, Васька кинулся к покотившейся к фальштоку бочке, а к ногам Григория Прохорыча, громыхая, полетело сбитое ящиком пожарное ведро.

Этим внезапным авралом смыло всю торжественность, и Григорий Прохорыч, поймав ведро, дал волю своему языку, забыв сам свои требования соблюдать военно-морской устав. И только когда бочки и ящики были словлены и надежно принайтовлены к палубе, он заметил в руках ведро, которым, оказывается, размахивал. Он повесил ведро на место, взглянул на надпись на нем и пошел вниз, коротко кивнув Ваське:

— Перекрасить!

Так бывший «Мощный» окончательно стал скромным КП-16. Но теперь, распекая за опоздание с берега или за неполадки на корабле, Григорий Прохорыч неизменно заканчивал свой громовой фитиль словами:

— Нет в тебе гордости настоящей за корабль... Какой из тебя балтиец выйдет? Ты припомни, облом, кому мы свое имя передали?..

И медяшка на КП-16 сияла не хуже, чем на самом «Мощном», на палубе и в машине держалась совершенно военная чистота, и даже Дроздов ухитрялся сводить пышный султан дыма, обычно колыхавшийся над трубой, до тоненькой серой струйки.

В холодный ноябрьский вечер КП-16 входил в Кронштадтскую гавань. Она была погружена во мрак, как и весь город, и темные силуэты насторожившихся кораблей едва угадывались у стенки.

Пронзительный штормовой ветер свистел в древних деревьях Петровского парка, и порой сеть голых их ветвей отчетливо проступала на бледном голубом фоне — это прожектор с далекого форта просматривал небо и море. Все эти дни корабль не знал отдыха, время было тревожное, и Григорий Прохорыч даже не нажимал на чистоту — команда и так недосыпала и забыла о берегу.

Едва подошли к стенке, из темноты долетел голос нарядчика: — Григорий Прохорыч, вас командир порта экстренно требует!

И Прохорыч, как был в рабочей робе, спрыгнул на стенку. Он вернулся часа через два, торжественный и серьезный, собрал команду в кубрике и сообщил, что КП-16 получает боевое задание и что он сам и «старший механик», как младшие командиры запаса, остаются на корабле, прочей же вольнонаемной команде надлежит утром получить в управлении расчет, поскольку их заменят краснофлотцами.

Тогда встал взволнованный Васька Жилин и объявил, что он с корабля никак не уйдет, пусть уводят силой, и что Григорий Прохорыч, видно, за это время совсем замотался, потому что не догадался сказать командиру порта, что они никакие не «вольнонаемные», а советские люди и балтийские моряки, и что довольно стыдно в первый день войны сдавать боевой корабль дяде, а самим припухать в Кронштадте, развозя капусту, которую, слава богу, достаточно повозили. За ним то же говорили и другие, даже кочегар Максutow, который прежде ловчился от всякой работы по старой малярной, и Григорий Прохорыч тотчас же пошел опять к командиру порта, забежав на этот раз домой и сменив китель на тот, который уже не надевал десять лет, — с тремя узенькими золотыми нашивками на рукавах.

Так началась боевая служба КП-16. Трех человек, в том числе и Максutowа, командир порта все-таки списал, и на их место пришли запасники. На баке появился пулемет, в рубке — крохотная радиостанция, и вечером следующего дня КП-16 был уже в далекой бухте, где сосредоточились корабли десантного

отряда, а ночью он стоял в охране, и Васька Жилин первым встал на вахту к пулемету и ракетам.

Два дня КП-16 мотался там, перевозя на корабли людей, оружие, продовольствие, воду в анкерках, снаряды, бегая по рейду с поручениями командира отряда, который держал флаг на миноносце «Мощный».

На третий день с утра у Григория Прохорыча заныли ноги, а к полудню и точно повалил густой снег. Он падал мокрыми крупными хлопьями на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость. КП-16 застрял у борта «Мощного».

Григорий Прохорыч оставался на мостике, любуясь кораблем, на горячих трубах которого хлопья снега мгновенно превращались в воду, медленно стекавшую струйками по безупречной серо-голубой краске. Тут его окликнул с борта молодой капитан второго ранга. Это был командир всего отряда, но Григорий Прохорыч узнал в нем веселого курсанта Колю Курковского, которого двенадцать лет назад он посвящал в тайны морской практики и который никак почему-то не мог осилить топового узла, пока Григорий Прохорыч, осердясь, не заставил его вязать этот узел при себе сорок раз подряд и не добился того, что пальцы Курковского сами находили переплетения этого нехитрого, на боцманский взгляд, сооружения. Курковский позвал Григория Прохорыча попить чайку, и тот, стараясь казаться по-прежнему молодцеватым, с трудом перекинул больные ноги через поручни и тотчас почувствовал ими глухую непрерывную дрожь всего корпуса «Мощного»: вполне готовый к походу и к бою, прогретый корабль, сотрясаемый работой сотен механизмов, дрожал всем телом, как сильная и быстрая гончая, почуявшая след.

В коридоре под полубаком пахло живым теплом чистого корабля — немного паром, чуть краской, свежим духом смоленого мата, разостланного у горловин погребов, и горьким боевым запахом артиллерийского масла, которым поблескивали на диво надраенные медные лотки элеваторов, уходящие в подволоку. В кают-компании ярко горел свет, было уютно и мирно, негромко играло радио, как будто отряд и не собирался ночью выходить в операцию, и только карта, лежавшая на боковом столике у дивана, напоминала об этом. Лишь за четвертым стаканом Курковский отвлекся от воспоминаний о курсантстве, о линкоре, о топовом узле, которого ему в жизни не забыть, и, как будто ни к чему, спросил, какая у Григория Прохорыча команда — не сдрейфит ли, если что? Тот ответил,

что команда, хотя вольнонаемная, но подходящая и положиться на нее вполне можно. Тогда Курковский подвел его к карте, указал на узкий проход, именуемый в просторечье «собачьей дырой», через который придется пройти отряду (так как второй проход к месту высадки лежит между вражескими островами), и сказал, что ввиду такой погоды КП-16 получает боевое задание. Надо засветло подойти к потушенному по случаю войны бакену у «собачьей дыры», стать на якорь у камней и по радио с «Мощного» включить на баке огонь, направив его в сторону приближающегося отряда. По этому огню пройдут «собачью дыру» все корабли и транспорты с войсками, после чего КП-16 — не позднее трех ноль-ноль — должен будет следовать за отрядом для перевозки десанта на берег, что произойдет в десять ноль-ноль.

Тут же он приказал одному из лейтенантов взять с собой карту и радиокод и перебраться на КП-16 в помощь его капитану (он так и сказал «в помощь», что очень польстило Григорию Прохорычу). Курковский еще раз подтвердил, что радио можно пользоваться только для приема и что у транспорта надо быть без запоздания.

Григорий Прохорыч поспешно вышел, чтобы распорядиться, и к сумеркам маленький буксир один-одинешенек подошел к «собачьей дыре» и стал возле бакена на якорь. К ночи снег повалил невозможно: сплошная белая стена заволокла вокруг все. Григорий Прохорыч выразил опасение, что условного огня с кораблей не увидят, но помочь было нечем. Ждали радио. Скоро из рубки принесли листок, лейтенант поколдовал над ним с кодом, бормоча: «Петя... Ваня... Леша...», и потом сообщил, что отряд все-таки снялся с якоря. Томительно проходило ожидание второго радио — о включении огня.

Снег все плотнее валил сверху, мостик дважды пришлось пролопатить — так хлупала на нем вода. К полночи Григорий Прохорыч решил, что операция отложена из-за невозможности пробиться через этот снег и что отряд вернулся. На это лейтенант удивленно повернул к нему голову, вытирая мокрый снег, надоедно набивавшийся за воротник, и спросил его, неужели он серьезно думает, что приказ может быть невыполнен. Он спросил таким тоном, что Прохорыч почувствовал уважение к этому мальчику и тотчас пошел сам проверить, хорошо ли включается огонь.

Но радио все же не было, и лейтенант начал нервничать. Ему стало казаться, что радист этого маленького буксира проморгал,

что вернее было взять с собой краснофлотца, потому что отряд наверняка уже идет мимо где-нибудь в этой мокрой неразберихе снега, так как «собачью дыру» он должен был пройти не позднее двух часов. Операция никак не могла быть отложена — это было не в характере Курковского, и не этому учил своих командиров капитан второго ранга; следовательно, оставалось только думать, что радио проморгали. Он нагнулся с мостика и крикнул Григорию Прохорычу, чтобы огонь на всякий случай включили. Яркий луч света ударил в темноту и осветил медленное и непрерывное падение кружащихся хлопьев. Вероятно, уже с пятидесяти метров этот луч можно было угадать по слабому сиянию белесого снега; и, значит, отряд проходил где-то в снегу, мимо камней, без всякой помощи ориентира.

Все эти тревоги и сомнения лейтенант переваривал в себе, а Григорий Прохорыч спокойно выжидал. Впрочем, тон, которым лейтенант сообщил ему свое мнение о приказе, вселил в него непоколебимую уверенность, что операция не отложена и что отряд нашел какой-то непонятный способ пробраться через «собачью дыру» и без условного огня. Поэтому, прождав до трех часов, когда по приказу КП-16 должен был сняться с якоря и идти к месту высадки, Григорий Прохорыч скомандовал: «Пошел брашпиль!», и тягучий перезвон якорной цепи завел на баке песню похода.

Лейтенант сказал было, что следовало бы остаться до получения распоряжения, но Григорий Прохорыч мягко, но настойчиво напомнил ему, что его прислали на корабль «в помощь» и что решение он выносит сам как командир корабля: отмены приказа не было, новых распоряжений не поступало, назначенный срок истек, — следовательно, надо действовать по плану, ничего не дожидаясь, потому что командир отряда запретил пользоваться радио и вряд ли будет сам загружать эфир подтверждением уже данного приказа. Корабли, конечно, уже каким-то чудом прошли «собачью дыру», и опаздывать к месту высадки не годится. Если же от операции вообще отказались из-за погоды (какой мысли он лично не может допустить), то, не увидев на плесе кораблей, он вернется на рейд.

События показали, что уверенность в том, что отряд, несмотря на эту совершенно непроходимую погоду, все-таки выполнил приказ, — уверенность, которую лейтенант сам же вселил в Григория Прохорыча и в которой под давлением обстоятельств поколебался, — оказалась правильной. Когда

впереди под низкими, набухшими снегом облаками выросли из серой воды могучие горбы острова, справа в неясной мгле декабрьского утра Григорий Прохорыч увидел корабли и транспорты. Они шли из того прохода, который лежал мимо вражеских островов: видимо, Курковский решил воспользоваться плотной снеговой завесой и провел весь отряд там, избежав необходимости рисковать узким и опасным путем мимо «собачьей дыры», и привел отряд к месту в точно назначенный срок.

— Учись, штурман,— сказал Григорий Прохорыч Жилину, которого он уже год приспособливал к штурманскому делу.— Учись, как военные корабли ходят. Молиться на них надо!.. Клади курс на отряд!

Миноносцы рванули вперед. Зеленые вспышки залпов блеснули в утренней дымке. Транспорты остановились, и целый рой маленьких катеров, буксиров, баркасов облепил их высокие важные борта, а вокруг них закружили сторожевые суда, высматривая, нет ли где подлодки. КП-16 с полного хода подошел к назначенному ему транспорту, и тотчас же на палубу, как горох, посыпались оттуда краснофлотцы с винтовками, гранатами и пулеметами. Лейтенант с «Мощного» выскочил на транспорт, отыскивая свою группу десантников, а на мостик КП-16 вбежал другой лейтенант, еще моложе, и, поправляя на поясе гранату, сказал счастливым и задорным тоном:

— Отваливайте, товарищ командир отделения, курс к пристани!

Григорий Прохорыч удивленно оглянулся, ища, кому он так говорит, но, вспомнив про свои нашивки, улыбнулся:

— Есть товарищ лейтенант!

КП-16 полным ходом пошел к берегу. Мимо, накренившись на повороте, промчался «Могучий», и за кормой его, рыча, встал из воды черный могучий столб взрыва, потом другой и третий. Очевидно, заметили подлодку. Взрывы глубинных бомб сотрясали воду так, что вздрагивал весь корпус КП-16, острые тараны миноносцев и сторожевиков, носившихся вокруг транспорта широкими кругами, утюжили воду, целая стая катеров шла с десантом к берегу, и сотни глаз смотрели, не появится ли из воды тычок перископа. Но больше его не видели.

Берег приближался. КП-16 обгонял катера, баркасы, буксиры, переполненные десанниками. Лейтенант всматривался в берег, поднимая бинокль, и, когда он опускал его и оглядывался на обгоняемые суда, такое нетерпение горело

в его глазах, что Григорий Прохорыч нагнулся к переговорной трубе и крикнул в машину:

— Дроздов, самый полный! Не капусту везешь!

КП-16 еще прибавил ход и с такой легкостью стал нажимать ушедшие вперед КП-12 и КП-14, что Григорий Прохорыч изумился: оба ходаками были неплохими, в особенности двенадцатый, бывший «Сильный». Но, нагнав его, он понял, что тот шел малым ходом. С мостика отчаянно махал фуражкой капитан и что-то кричал. Уменьшив ход и вслушавшись, Григорий Прохорыч понял, что у пристани накинаны мины и что идти к ней опасно.

— Взорвался кто, что ли? Никого ж там еще нет! — крикнул Григорий Прохорыч.

— Пушай вперед катера идут, обождем тут, Григорий Прохорыч, опасно!..

К задержавшимся буксирам подошел еще один и тоже уменьшил ход. Григорий Прохорыч неодобрительно покосился на него и повернулся к лейтенанту:

— Как, товарищ лейтенант, ночевать тут будем или на риск пойдем?

В голосе его была откровенная насмешка, но лейтенант огорченно подтвердил, что в приказе и точно говорилось о возможных минах, наваленных у пристани, и что именно поэтому в первый бросок назначены мелкосидящие катера, а буксиры должны подойти к ней во вторую очередь. Однако рассудительность, с какой он это говорил, никак не вязалась с тем нетерпеливым взглядом, которым он впился в далекую пристань, и Григорий Прохорыч отлично понял его состояние.

Он внимательно его выслушал, вежливо кивая головой и одновременно зорко оглядывая бухту, потом наклонился к переговорной трубе и скомандовал:

— Самый полный вперед!

Лейтенант изумленно взглянул на него, но Григорий Прохорыч, хитро подмигнув ему, указал вправо от пристани. Там, в глубине бухты, серел песчаный пляж, и вряд ли на острове было такое количество мин, чтобы засыпать ими всю бухту.

— Как, товарищ лейтенант, — так же хитро спросил Григорий Прохорыч, — годится такое местечко? В приказе ничего о нем не упомянуто, а к пристани мы и не сунемся... Только придется морякам малость покупаться.



Лейтенант одобрительно кивнул головой и перегнулся через поручни:

— Приготовиться в воду! Гранаты и винтовки беречь!

Описав крутую дугу и поливая берег пулеметами, КП-16 влетел в бухту и направился к пляжу. Ровной мирной гладью стояла там вода, и под тускло-серебряной ее поверхностью ничего нельзя было угадать. Лейтенант подумал было о том, что надо бы убрать с бака людей,— если буксир стукнется о мину, так, конечно, носом,— но, поняв, что и на корме не будет легче, приготовился к прыжку, высоко подняв гранату и пистолет. Григорий Прохорыч отстранил от штурвала рулевого и стал к рулю сам, зорко и спокойно всматриваясь в бухточку, как будто подходил к угольной стенке в Средней гавани. И только сжатые челюсти да ставшие серьезными глаза указывали на некоторую необычность этого подхода к берегу.

Мягкий толчок шатнул всех на палубе. Зашуршал под носом песок, забурлил винт на заднем ходу — и всплеск за всплеском поднимали брызги на палубу: краснофлотцы вслед за лейтенантом прыгали в холодную воду и по грудь в ней бежали на берег.

Григорий Прохорыч легко снял с мели освобожденный от людей буксир, развернулся и пошел за новым отрядом. Навстречу ему к пляжу летел осмелевший «Сильный», за ним еще два буксира, и краснофлотцы на них уже поднимали над головами винтовки, готовясь последовать примеру первого броска.

— Эх ты, балтиец! — крикнул капитану «Сильного» Григорий Прохорыч, а Васька Жилин у штурманского столика немедленно прибавил обидное, но хлесткое словечко. Прохорыч неодобрительно повернулся к нему.

— Товарищ Жилин, в бою ведите себя спокойно,— сказал он, в первый раз, пожалуй, называя Ваську на «вы».

3

Остров стал своим. КП-16 приходил теперь сюда в прежней своей роли — с бочками, с ящиками, с патефонами и снарядами, как будто и не было того декабрьского утра, когда он показал здесь дорогу десанту. Так как на острове появлялся только он, то бойцы гарнизона, радостно встречавшие его у пристани, на третьем же рейсе от избытка чувств переделали КП-16 в ласковос словечко «Капеша», иногда распространяя его в «Капитошу» или в почтительного «Капитона Ивановича». Как это ни

странно, новое имя, в котором сказалась вся привязанность вооруженных островитян к верному им кораблю, опять вызвало протест Григория Прохорыча. Услышав это фамильярное наименование от Жилина, он строго оборвал его, впрочем обращаясь на «вы», так как, почувствовав себя на военной службе, он четко разделял теперь отношения служебные и внеслужебные:

— Бросьте это слово, товарищ штурман (Жилин уже плотно ходил в штурманах). У корабля есть свое имя, установленное приказом, и нечего его перековеркивать, тем более что оно уже вошло в историю.

Под историей Григорий Прохорыч подразумевал вырезку из газеты «Красный Балтийский флот», где в корреспонденции с десантного отряда был описан первый бросок и отмечена боевая инициатива командира КП-16. Жилин тоже хранил эту вырезку, впрочем, с другими, более практическими целями: в короткие часы пребывания в Кронштадте, забегая к некоей Зиночке, он гордо вытаскивал эту вырезку и снова начинал рассказывать свой первый и единственный пока боевой эпизод, добавляя с таинственным видом, что она вновь кой-чего услышит о «Капеше» через газету, тогда уж обязательно будет упомянуто и его имя.

Но рейсы на остров шли своим порядком, случая показать свои боевые качества «Капеше» больше не представлялось, и Жилин беспрестанно вздыхал, нагнувшись над картой в своем штурманском столе:

— Эх, и наша жизнь капешная!.. Люди воют, а нам все капуста... Нет тебе счастья, Василий Жилин! С такими темпами до Героя Советского Союза, пожалуй, не дойдешь!..

Григория Прохорыча эти речи сильно возмущали. Облокотившись о поручни и пошевеливая в валенках пальцами (ибо с каждым рейсом на остров дело все ближе подходило к настоящей зиме), Григорий Прохорыч длительно поучал Жилина, доказывая ему, что на флоте, как и на корабле, каждому предмету определено свое место и что пресловутая капуста есть тоже вид боевого снаряжения и доставлять ее на далекий остров — занятие совершенно боевое и самое подходящее для КП-16. И тут же с гордостью и не без ехидства добавлял, что небось КП-четырнадцатого или двенадцатого на остров не шлют, потому что доверить боевую капусту кораблям, которые шарахаются в сторону от каждой льдины, никто себе не позволит.

А льдины действительно встречались им в заливе все чаще и крупнее. По берегам уже образовался легкий припай, и каждый шторм откусывал от его ровной зеленовато-белой пелены порядочные куски и пускал их в залив на разводку, а у берега мороз и спокойная вода безостановочно пополняли убыль. Одинокие же льдины, попав в залив, не растворялись в воде, а, наоборот, неся достаточный запас холода, сами при случае примораживали к себе обливающую их воду и тоже безостановочно росли, превращаясь в ровные поля. Иногда шторм, не разобравшись в задании природы, разламывал эти плавучие поля, но мороз методически исправлял его ошибку — и новое поле, смерзшееся из льдин, снова медлительно плыло по заливу, отыскивая, к чему бы приткнуться и слиться в еще большее.

КП-16 действительно не шарахался от льдин: оценив опытным взглядом возраст и толщину льда, Григорий Прохорыч в большинстве случаев шел прямо на поле. Корабль вздрагивал от удара, вползал на лед своим подрезанным ледокольным тараном, с каждым сантиметром втаскивая все большую тяжесть корпуса, — и лед, не выдержав, подламывался, разбивался в медленно переворачивающиеся куски, показывая в их изломе ослепительное сверкание кристаллов, и, увлекаемый работой винта, тянулся к корме. Порой по льдине от первого же удара тарана пробегала извилистой судорогой трещина, и тогда поле распадалось на две части, между которыми, раздвигая их бортами, свободно и без шума проходил КП-16. Впрочем, иногда — а с каждым походом все чаще и чаще — Григорий Прохорыч, всмотревшись в лед, молча показывал рулевому направление и уступал льдине дорогу, предпочитая разумный обход противника ненужной любовой атаке.

Но вскоре этот маневр стал просто правилом плавания: лед явно закреплял позиции. Уже заняты были им невская дельта, Маркизова лужа, почти все кронштадтское горло залива, и с флангов его передовые части тянулись по южному и северному берегам, занимая бухты и заливчики, чтобы оттуда со штормом высылать ледяные поля в самый залив, на широкие его плесы. Только в Кронштадтской гавани и на входном фарватере по створу маяков воде кое-как удавалось сохранять полужидкое состояние: там стояла холодная каша перековерканных, бесформенных обломков, смерзнуться которым в сплошной покров никак не давали беспрестанно проходившие здесь корабли и ледоколы. Под их ударами лед звенел, рычал

и терся о борта, но дробился — и мстил только тем, что, когда его оставляли в покое, смерзался самым подлым способом: хаотическими комками, напоминающими вспаханное поле, ломать которые было порой труднее, чем ровный покров. Но его все-таки ломали, потому что война продолжалась, и корабли прорывались по фарватеру до кромки льда, чтобы выскочить на незамерзшие еще плесы. И вслед за ними, пользуясь свежим проходом, проскакивал до кромки и КП-16, чтобы, обходя встречные поля или врезаясь в них, упрямо пробираться к своему острову.

Так же пошел однажды КП-16 и в начале января вслед за эскадрой, выходящей на операцию. Он пробился на рейд, выжидал там, когда линкор, пошевелившись своим огромным телом, легко разломал смерзшийся лед фарватера, и тогда пристроился у него за кормой, свободно пробираясь по его широкому следу.

Синяя прозрачность позднего январского рассвета отступала на запад, как бы теснимая туда линкором, а за кормой все выше и шире вставало просторное розовое зарево зимней зари, непрестанно усиливаясь, и огни створных маяков с какой-то особой, праздничной яркостью вспыхивали в морозном воздухе — беззвучно и остро. Григорий Прохорыч стоял на мостике, забыв о холоде, и неотрывно смотрел на медленно расширяющееся по небу полымя, на давно знакомый контур города — водокачку, краны, трубу Морского завода, могучий купол собора, на тонкие иглы мачт в гавани, — и удивительное чувство легкости, бодрости и в то же время неизъяснимой грусти все сильнее овладевало им.

Он любил этот тихий предутренний час, к которому привык, долгие годы вставая до побудки, — час, когда корабль еще спит и в открытые люки видны еще синие ночные лампы; когда на светлеющем небе все резче проступают тонкие черты такелажа и мачт и краска надстроек приобретает свой суровый военный цвет: когда не хочется громко говорить, потому что даже шлюпки на выстрелах, беспокойно бившиеся всю ночь, присмирели и чуть тянут иногда шкентеля, как бы проверяя, все ли они еще на привязи. Но зимние рассветы были для него зрелищем непривычным — они заставляли его в суете флотского дня, начавшегося в темноте, и тишины не получалось.

Теперь он смотрел на алое морозное небо как будто впервые и вдруг подумал, что прожил все-таки очень много лет и что видеть эти плавные, но неудержимые начала дня ему остается

недолго. Мысль эта со всей ясностью встала в его голове, и он даже хотел рассердиться на нее — с чего это? Но непонятная свежая грусть все еще владела им, и он продолжал смотреть на уходящий в алый горизонт черный контур Кронштадта, пока удар о лед не заставил его обернуться. Оказалось, линкор уже далеко ушел вперед и ледяная каша опять упрямо набилась в проход. Он взглянул на Кронштадт, как бы прощаясь с ним, и повернулся по курсу — к западу.

Но и там уже небо посветлело, полегчало и поднялось — и скоро стало прозрачно-голубым. День, по всем признакам, обещал быть морозным, но тихим, хотя знакомая ноющая боль в ногах говорила другое: будет шторм.

И точно: у кромки лед уже дышал.

Это было поразительное зрелище: ровное ледяное поле медленно и беззвучно выгибалось, слясь в точности повторить очертания пришедшей с моря волны, приподнимающей снизу его упругий покров. Лед не ломался и не давал трещин — здесь он был еще мягок и гибок, как кости маленького ребенка. Он только прогибался, и странная пологая волна колыхала его, затухая по мере приближения к более плотному льду.

И снова Григорий Прохорыч, вместо того чтобы озабоченно думать, какая ждет его за кромкой волна, смотрел на это мерное дыхание льда, и та же неизъяснимая и легкая грусть опять заставила его притихнуть. Так дышащий лед он видел за всю свою жизнь три-четыре раза — и неизвестно, увидит ли еще. И, опять поймав себя на этой мысли, он уже и в самом деле рассердился, обозвал себя старым дураком и пошел присмотреть за тем, что делается на корабле.

Он спустился с мостика, сам проверил, как закреплен груз, особо тщательно осмотрел крепления ящиков со снарядами, предупредил в машине, что в море шторм, и приказал загодя закрыть люки — и потом поднялся на мостик.

Там в его отсутствие Жилин, пользуясь правами «штурмана», со вкусом покрикивал рулевому: «Точнее на румбе!», «Вправо не ходить!» — и прочие команды, безопасные для дела, но показывающие командирскую власть. Взглянув на это сияющее лицо, Григорий Прохорыч наконец понял, с чего это ныне лезут в голову всякие загробные рыдания.

Причиной всему был проклятый ревматизм. Вернувшись из последнего похода, когда КП-16 обливало со всех сторон и на мостике не было сухого места даже в рубке, где волна, бесцеремонно распахивая двери, прокатывалась выше колен, Григорий

Прохорыч слег. Впервые за всю службу по вызову командира порта он пошел не сам, а послал Жилина как помощника. Тот был этим больше перепуган, чем польщен, и, вернувшись, трижды вспотел, прежде чем убедился, что передал все приказания в точности. Но Григорию Прохорычу вдруг померещилось, что там, в знакомом кабинете, где важно тикают какие-то немыслимые часы времен парусного флота, с десятком стрелок, показывающих что угодно — от числа месяца до цены на пеньку и смолу, — неминуемо шел разговор о нем, о его болезни, о том, что старику пора бы на покой, раз уж не может приходить сам, а посылает помощника. Григорий Прохорыч, проклиная ноги, встал через силу и все-таки явился к командиру порта (как бы за дополнительными приказаниями), и хотя тот ни слова не сказал о том, чего боялся Прохорыч, но тревожный осадок все-таки остался, и отсюда и пошли эти мысли о старости.

Кромка льда, вздымаясь все выше и колышась все чаще, постепенно перешла в битый лед. Здесь гуляла уже настоящая волна, только одетая гибкой ледяной кольчугой, не дающей гребню вставать пеной и брызгами. А впереди темное утреннее море уже белело барашками, и скоро первая волна подняла КП-16 на дыбы, обдала его холодными брызгами — и веселое плавание началось.

Мокрый до клотика мачты, КП-16 упорно лез на волну. Сперва она была по курсу, с веста, потом к вечеру шторм зашел на юг, и маленький буксир стало валять бортовой качкой нестерпимо. Но шторм мало беспокоил Григория Прохорыча: корабль держался отлично и был к тому привычен, команда тоже не первый раз видела такое — шторм был как шторм. Он думал о другом, с тревогой посматривая на юг, то и дело протирая стекла бинокля: оттуда как будто двигалось большое ледяное поле наперерез курсу. Вероятно, шторм оборвал его связи с берегом и теперь гнал на север. Это, несомненно, был серьезный береговой лед, вступить в борьбу с которым Григорий Прохорыч не имел никакой охоты: застрять в такой шторм в ледяном поле означало носиться с ним по воле ветра, а ветер как раз дул на север, к вражеским берегам.

Пораздумав, он приказал Жилину взять бинокль, лезть на мачту и, пока светло, посмотреть оттуда, где виднеется южный край этого поля. Жилин охотно скинул полушубок и в одном ватнике полез цепко на мачту, раскачиваясь вместе с нею. Вися под клотиком и лихо держась одной рукой, он поднял другой

к глазам бинокль, всмотрелся и потом биноклем же указал направление. Григорий Прохорыч сверился с картой. Догадка его оказалась правильной: пока КП-16 дойдет до поля, оно, вероятно, отойдет от отмели, мешающей обойти его с юга. Он изменил курс, вошел в битый лед, тащившийся за льдиной, как растрепанный хвост, и подмигнул Жилину, который к тому времени, распаренный, вылез из кочегарки, куда опрометью кинулся прямо с мачты, ибо там его препорядочно стегануло ветром и брызгами.

— Маневр, штурман! Обштопаем льдину, как миленькую, а то неизвестно, куда она затащит... Ишь прет на норд — к ночи, пожалуй, в гости к шюцкорам придет! Факт!

Жилин весело отозвался — в битом льду корабль меньше качало, поле обманули, на мачте он показал класс, и было о чем порассказать на берегу. Григорий Прохорыч оставил его на мостике за себя, приказав идти только в битом льду и никак не приближаться к коварному полю, и спустился вниз обогреться чаем. Однако не успел Васька всласть накомандоваться рулем — ибо теперь командовать уже приходилось всерьез, — как Григорий Прохорыч появился на мостике взволнованный и тревожный, и первый его вопрос был совершенно неожиданный.

— Что, Мальков — коммунист?

Мальков был тот самый рулевой, что стоял сейчас на вахте. Григорий Прохорыч не очень интересовался партийной принадлежностью своей команды и то, что Жилин — комсомолец, знал главным образом потому, что тот иногда отпрашивался на комсомольское собрание. Жилин недоумевающе посмотрел на командира.

— Коммунист.

Он решил, что Мальков сделал какую-то оплошность, потому что одним из самых сильных доводов Григория Прохорыча при внушении был упрек: «И еще в партии состоишь!..» Но Григорий Прохорыч озабоченно сказал, обращаясь к нему по-прежнему на «ты»:

— Пройди, сынок, по кораблю, подсмени беспартийными, а всех коммунистов и комсомольцев зови сюда. И живо давай!

Когда весь партийно-комсомольский состав маленького корабля в лице трех кочегаров, радиста Клепикова, двух машинистов, Дроздова, Жилина и Малькова собрался в рубке, Григорий Прохорыч, оторвавшись от карты, коротко объявил,

что он принял боевое решение и просит коммунистов и комсомольцев показать образцы самоотверженной работы и увлечь этим команду, потому что дело нешуточное.

Оглянув всех, он прочел радиogramму, принятую Клепиковым по флоту в числе прочих. В ней сообщалось по коду, что эсминец «Мощный» сорван с якорей льдом, выбраться не может и просит помощи ледокола. К этому Григорий Прохорыч добавил, что, судя по координатам, «Мощный» как раз в том ледяном поле, которое они обходят по южной кромке, и что поле это с порядочной скоростью несет к северному берегу, под обстрел батарей, и что время не терпит.

Решение же его такое: войти в лед, пробиться к «Мощному» и вывести его из льда. Дело рискованное, потому что можно застрять и самим, но ждать ледокола тоже нечего, так как неизвестно, где очутится «Мощный» к его приходу, а КП-16 довольно близко от него, корабль сам по себе крепкий и со льдом управиться может, если поработать на совесть и не дрейфить. Затем он сделал ряд распоряжений и закончил приказом немедленно перегрузить все снаряды на бак с целью утяжелить нос, чтобы лучше ломать лед и чтобы в случае затора иметь возможность перенести их на корму и этим поднять нос.

Уже темнело, когда КП-16, разбежавшись в битом льду, с силой сделал первый удар в ледяное поле. Оно уступило неожиданно охотно, и добрый час корабль пробивался почти легко. Но потом началось мучение с переноской балласта. Тяжелые ящики со снарядами переносили на корму, нос облегчался, и КП-16 сползал с упрямой льдины задним ходом. Ящики снова перетаскивали на бак. Люди садились на них, устало опустив руки, буксир разбегался, ударялся в льдину и либо отламывал ее, либо люди вставали с ящиков и снова тащили их на корму.

Это была очень тяжелая, утомительная, но благородная работа: КП-16 все глубже вгрызался в ледяное поле. Клепиков уже передал на «Мощный» с грехом пополам набранную по коду радиogramму: «Идем на помощь с зюйд-оста, включите огонь», и Григорий Прохорыч, оставшийся на мостике один на штурвале (так как и Жилин и Мальков помогали таскать «балласт»), вглядывался на север, но ночь все была темна, и ветер выл в снастях, и ему было одиноко, тревожно и тоскливо.

Огня он так и не увидал: его увидал с ящиков Жилин и диким голосом заорал:

— Вижу!

Он взбежал на мостик, задыхающийся, измученный, но ликующий, и показал на слабый синий огонек. Григорий Прохорыч медленно и глубоко вздохнул, нагнулся в темноте к переговорной трубе и сказал в нее хриплым и дрожащим голосом:

— В машине... Видим... Голубчики, навались...

То ли навалились в машине, то ли лед стал слабее, но синий огонек быстро приближался, и перетащить ящики пришлось только еще один раз. Через час Григорий Прохорыч, моргая от яркого света, стоял в знакомой кают-компании, и Курковский крепко обнимал его. Быстро посоветовались.

Капитан второго ранга предложил Григорию Прохорычу обколоть «Мощного» с «бортов», чтобы тот мог развернуться длинным своим телом по направлению к каналу, после чего КП-16 поведет миноносец за собой на юг. Григорий Прохорыч, смотря на карту, покачал головой.

— Не годится это,—сказал он в раздумье,—я вас только задерживать буду. Сами хорошо пойдете, канал сжимать не должно, он по ветру вышел. Коли б я поперек шел, тогда точно, обязательно бы зажало. А тут—войдете в канал и верных двенадцать узлов дадите, только следите, чтоб в целину не врезаться. Уходить вам надо, эвон куда занесло...

И он показал на кружочек, отмеченный на карте последним определением. Берег с батареями был действительно угрожающе близко.

— Да вы о нас не беспокойтесь,—добавил он, видя, что Курковский колеблется.—Выкарабкаемся. Да и вряд ли они на нас будут снаряды тратить.

Он помялся и потом негромко сказал:

— Человечка у нас одного возьмите... Ногу повредил ящиком... Так в случае чего...

Он не договорил, и капитан второго ранга внимательно посмотрел ему в глаза. Военным своим сердцем он угадал недосказанное и, молча наклонившись, крепко поцеловал Григория Прохорыча в седые колючие усы.

— Так,—сказал он строгим тоном, вдруг застыдившись своего порыва.—Значит, в случае чего, добирайтесь сюда,—он показал на карте выступающий мыс там, где кронштадтское горло расширялось к северному берегу.—Тут наше расположение, понятно?

— Понятно,—так же строго сказал Григорий Прохорыч.

— Буду вас все время слушать на вашей волне. В случае

чего дадите... ну, какое-нибудь условное слово, чтоб легче запомнить...

— Топовый узел,—сказал Григорий Прохорыч, улыбаясь.— Помните, вы все его вязать не могли?.. Ну, счастливо...

Они еще раз обнялись, и Григорий Прохорыч вышел. В теплой кают-компании он забыл о том, что делается на палубе, и ледяной плотный порыв ветра, едва не сбивший с ног, очень его удивил. Но тотчас же он перелез к себе на мостик и КП-16 двинулся вдоль борта эсминца. Курковский, дождавшись, когда, обколов лед вокруг эсминца, КП-16 поравнялся с мостиком уже с другого борта, дал ход. «Мощный» зашевелился во льду и пошел вслед за КП-16. Тот описывал медленную широкую дугу, но и в нее «Мощный» с трудом вмещал свое длинное узкое тело. Наконец он попал в сделанный ранее канал. КП-16 сбавил ход, пропустил мимо себя «Мощного», и тот, легко раздвигая острым своим форштевнем разбитые буксиром льдины, быстро пошел к югу. Григорий Прохорыч оказался прав: только в трех-четырех местах ледяное поле сжало края рваной раны, прорезанной крепким корпусом КП-16, но и здесь «Мощный», как игла, протискивался своим узким телом между краями цельного льда.

Через четыре часа он вышел на чистую воду. Но Курковский без всяких признаков радости смотрел на нее: ледокол, в ответ на его радиogramму с просьбой немедленно идти на помощь к КП-16, ответил, что занят выводом двух эсминцев, также дрейфующих в ледяном поле, и что из Кронштадта давно вышел второй ледокол, но и его послали к другим миноносцам... Очевидно, в море творилось что-то небывалое и ледоколам было работы по горло.

Действительно, шторм достиг предельной силы. Огромные ледяные поля, целые равнины, казалось бы намертво прикованные к берегу, теперь быстро шли поперек залива на север, натыкаясь друг на друга, налезая краями и нагромождая ими торосы, прижимая другие поля в узкостях с чудовищной силой, срывая их и увлекая за собой или перед собой. И вся эта огромная масса льда, ринувшаяся с юга, давила на то поле, где пробивался КП-16, далеко отставший от более сильного машинами миноносца.

Но и тому приходилось очень трудно. Встречный шторм окатывал палубу и мостик, обмерз весь такелаж, мачты, орудия, надстройки, то и дело краснофлотцы в ледяной воде обкалывали корабль. Тяжело зарываясь носом, «Мощный» шел на юг, но

внезапно резко менял курс, и, опасно ложась на стремительной бортовой качке, обходил надвигающееся ледяное поле, грозившее снова зажать его холодным крепким объятием. В этой борьбе с взбесившимся заливом Курковский не замечал, как проходило время. Было около семнадцати часов, когда на мостик принесли радиogramму с позывными командира дивизиона.

С трудом шевеля закоченевшими пальцами, Курковский взял ее и пошел в рубку. Там он положил ее на стол, неловко расправив, прочел — и командир «Мощного» с изумлением увидел, как он внезапно опустился на диван. Он заглянул в бланк. Там стоял короткий открытый текст:

«Шестнадцать пятнадцать топовый узел курс Стирсудден КП-16».

4

Когда к рассвету КП-16 уже подходил к краю ледяного поля и ему удалось определиться, оказалось, что, несмотря на непрерывное продвижение вперед, он был сейчас даже севернее того места, где вызволял «Мощного»: поле несло на север с большей скоростью, чем он пробивался по нему на юг. Теперь КП-16 был в глубине большой бухты, глубоко вдававшейся в северный берег.

Но все же с огромными усилиями корабль выскочил из льда, и Жилин, закоченевший, черный и мокрый, опять закричал тем же диким голосом, которым он оповестил о «Мощном»:

— Вода!!

КП-16 весело завертел винтом, но уже через час ему пришлось изменить курс: с юга ползло новое поле. Он повернул на восток, изо всех сил торопясь проскочить это поле, пока оно еще не сомкнулось с береговым припаем, входившим в бухту от ее восточного берега. Десятки глаз смотрели с палубы крохотного корабля на полосу черной воды, неуклонно уменьшавшуюся в размерах. Скоро стало ясно, что в этом страшном состязании верх возьмет лед: его несло штормом к северу скорее, чем продвигался к востоку корабль.

Поняв это, Григорий Прохорыч резко скомандовал «лево на борт» и ринулся на запад, рассчитывая, что не может же поле быть такой ширины, чтобы закрыть собой весь выход из бухты, и что между западным береговым припаем и надвигающимся полем обязательно окажется проход — пусть в секторе обстрела

батарей. Дроздов, оценив положение, спустился в машину, и никогда еще КП-16 не развивал такого хода.

Но черная полоса воды между западным берегом и полем все уменьшалась. И вновь стало ясно, что и здесь обе ледяные равнины сомкнулись. Но было ясно еще и то, что, закрыв собой выход из бухты, это поле, обламывая себе края или береговому льду и выпирая из него торосами, продолжало двигаться в бухту, как ящик письменного стола. А это означало, что его вдавливают в бухту чудовищная сила подвижки всего наличного в заливе льда.

Тогда Григорий Прохорыч, еще раз определив место и поняв, что до предела дальности батарей осталось не больше трех миль, повернул на юг и врезался в поле.

Первая же попытка доказала, что пробиться через него было совершенно невозможно: судя по толщине и крепости, это был самый ранний лед, вынесенный, может быть, из самых глубин Копорской губы. Это был лед родной страны, лед, по которому недавно еще ходили советские буера, бегали на коньках колхозные мальчишки, шуршали лыжами пограничники в ночном дозоре... Здесь, оторванный от родных берегов, он был враждебен. Вжимаясь в бухту, он оттеснял КП-16 на север, и новый пеленг на мыс показал, что до снарядов осталось меньше двух миль.

Григорий Прохорыч поднял голову от карты, и Жилин испугался: лицо старика осунулось и похудело, оно было багрово-красным от мороза и ветра, седые усы спутаны, глаза ввалились и блестели беспокойным огнем. Он оглядывался кругом, как затравленный зверь, но слева, впереди и справа был лед, а за кормой—батарея. Он наклонился к переговорной трубе и хрипло скомандовал:

— Самый полный вперед!

КП-16 разбежался в чистой воде, ударил в лед, всполз на него носом и долго стоял так, бешено работая винтом, пока Григорий Прохорыч не сказал неожиданно спокойным голосом:

— Стоп все. Дроздов, на мостик!

Он снял свою старенькую меховую шапку, вытер лоб и сел на диванчик в рубке, как будто окончил трудную работу и собрался как следует отдохнуть. Так его и застал Дроздов.

Приказания его были точны и кратки.

Жилину: изготовить пулемет на случай, если шюцкоры полезут по льду. Дроздову: приготовиться открыть кингстоны, не забыв в горячке стравить пар, чтобы котел не взорвался, по-

тому что после войны ЭПРОН все равно корабль поднимет. Обойдем: разъяснить команде, что в случае чего сойдем на лед и будем пробиваться к Стирсуддену. Пока есть время, всем просушить в кочегарке одежду и валенки, собрать продукты и все ручное оружие. Разбиться на две партии, одну поведет Жилин, вторую — Дроздов. Не забыть компасы, их как раз два. Пулемет тащить с собой, сочинить салазки — может, придется отбиваться. Передать эту телеграмму радисту, время пусть поставит сам в последний момент. Все.

И пока на корабле молча и без суеты готовили все это, Григорий Прохорыч сидел в рубке, растирая колени. Коснуться их было очень больно, а ходить — еще больнее. Хотелось лечь и закрыть их потеплее. Но надо было вставать, ковылять к компасу, брать пеленг на мыс и потом поторапливать со сборами: поле неуклонно несло к батареям. Дроздов принес чьи-то высушенные уже валенки и полушубок, заставил Григория Прохорыча снять свои и унес их сушиться. На момент ногам стало легче, но, когда он встал и прошел к компасу, боль стала невыносимой. Новый пеленг показал, что КП-16 уже снесло до предела огня батарей.

Он записал в вахтенный журнал пеленг, посмотрел на северный берег, низко и хищно притаившийся в синей дымке леса, и негромко сказал:

— Ну, чего чикаетесь? Наверняка хотите бить?

И как будто в ответ на это далеко на берегу сверкнул желтый огонь, небо раскололось с противным треском, и метрах в двухстах от КП-16 по воде запрыгали белые невысокие фонтанчики.

— Шрапнель, — сказал сам себе Григорий Прохорыч и крикнул вниз: — Команде покинуть корабль, рассыпаться по льду до конца обстрела!

Второй воющий треск заглушил его слова, и снова шрапнель легла в том же месте. Третьего залпа долго не было — очевидно, на батарее сообразили, что незачем тратить снаряды, когда цель приближается. Григорий Прохорыч снял компас, взял его под мышку, постоял в рубке, обводя глазами ее и мостик, и после, тяжело ступая, пошел к трапу и, с трудом двигая ногами, ступил с корабля на лед.

— Ну, товарищ Дроздов, действуй, — сказал он и отвернулся.

Небо за кораблем пламенело огромным заревом штормового заката, но в тревожном и ярком его полуме он не отыскал той



легкости, спокойной прозрачности, которая вчера утром наполнила его сердце удивительной тишиной. Он повернулся совсем спиной к кораблю и стал смотреть в сторону Кронштадта. Там небо синело глубоко и спокойно.

Один за другим поднялись из снега моряки КП-16 лицом к своему командиру и своему кораблю. Штормовой ветер распластывал на гафеле синий портовый флаг, на фоне заката он казался почти черным. На дымовой трубе хлопнул клапан, и с сильным, почти гудящим звуком пар белым султаном поднялся в небо. Все молчали. Пар, постепенно слабей, снижал свой пышный султан и потом прекратился с каким-то жалобным стоном, и по трубе крупными горячими слезами потекли его оседающие струйки.

В тишине, сквозь свист ветра, донесся металлический стук открываемого люка. Из машины поспешно вышел Дроздов, зачем-то аккуратно задраил за собой люк, опять лязгнув металлом, постоял возле него, потом, отчаянно махнув рукой, молча перепрыгнул через фальшборт и отошел к безмолвной группе людей.

Они долго ждали. Но КП-16 продолжал выситься надо льдом, только корма села ниже обычного. Похоже было, что он отказывается тонуть.

Мальков не выдержал.

— Что же он?—сказал он негромко, как у постели умирающего.—Дроздов, ты все кингстоны открыл?

— Видишь, лед держит,—так же негромко ответил Дроздов.

Снова молчали. Потом раздался резкий треск льда, и льдина под бортами КП-16 откололась, давая ему дорогу. Он быстро и прямо пошел под воду, держась на ровном киле. Люди не то ахнули, не то вздохнули, и Григорий Прохорыч резко обернулся. Он сорвал с себя шапку и сделал два шага к кораблю. Дроздов придержал его за локоть.

— Ну, ну... Прохорыч...—сказал он ласково.

Жилин всхлипнул и, тоже сорвав шапку, крикнул высоким неестественным голосом:

— Боевому кораблю Краснознаменного Балтийского КП шестнадцать — ура, товарищи!

Крик его как бы вывел всех из оцепенения. Громкое «ура» раскатилось по льду и замолкло только тогда, когда холодная тревожная вода, отливающая багровым отблеском заката, сомкнулась над стареньким синим портовым флагом.

— Шрапнель, ложись! — крикнул вдруг Григорий Прохорыч, заметив на берегу знакомую желтую вспышку. Все упали. Опять треснуло над головой небо и завизжало вокруг. И Григорий Прохорыч тоже повалился боком в снег.

Батарея дала четыре залпа. Ранило троих. Надо было немедленно уходить. Жилин впрягся в салазки, на которые успели поставить пулемет, и повез их к Григорию Прохорычу.

— Мальков, помогай, — сказал он по пути. — Старик наш совсем обезножел, не дойдет... Повезем все по очереди.

Они подтащили пулемет к Григорию Прохорычу, но тот не отозвался. Его повернули: он был убит шрапнельной пулей в лоб, пережив свой корабль на две с половиной минуты.

Последние пять суток в лодке почти не спали.

Северный шторм, как в трубу, дул в этот стиснутый скалами длинный залив. Вздрыбленные им волны растревожили холодную воду до самых тайных глубин, и лодке никак не удавалось лечь на грунт, чтобы людям можно было поесть горячего и поспать: лодку постукивало о камни или попросту вышвыривало на поверхность мощной глубинной волной.

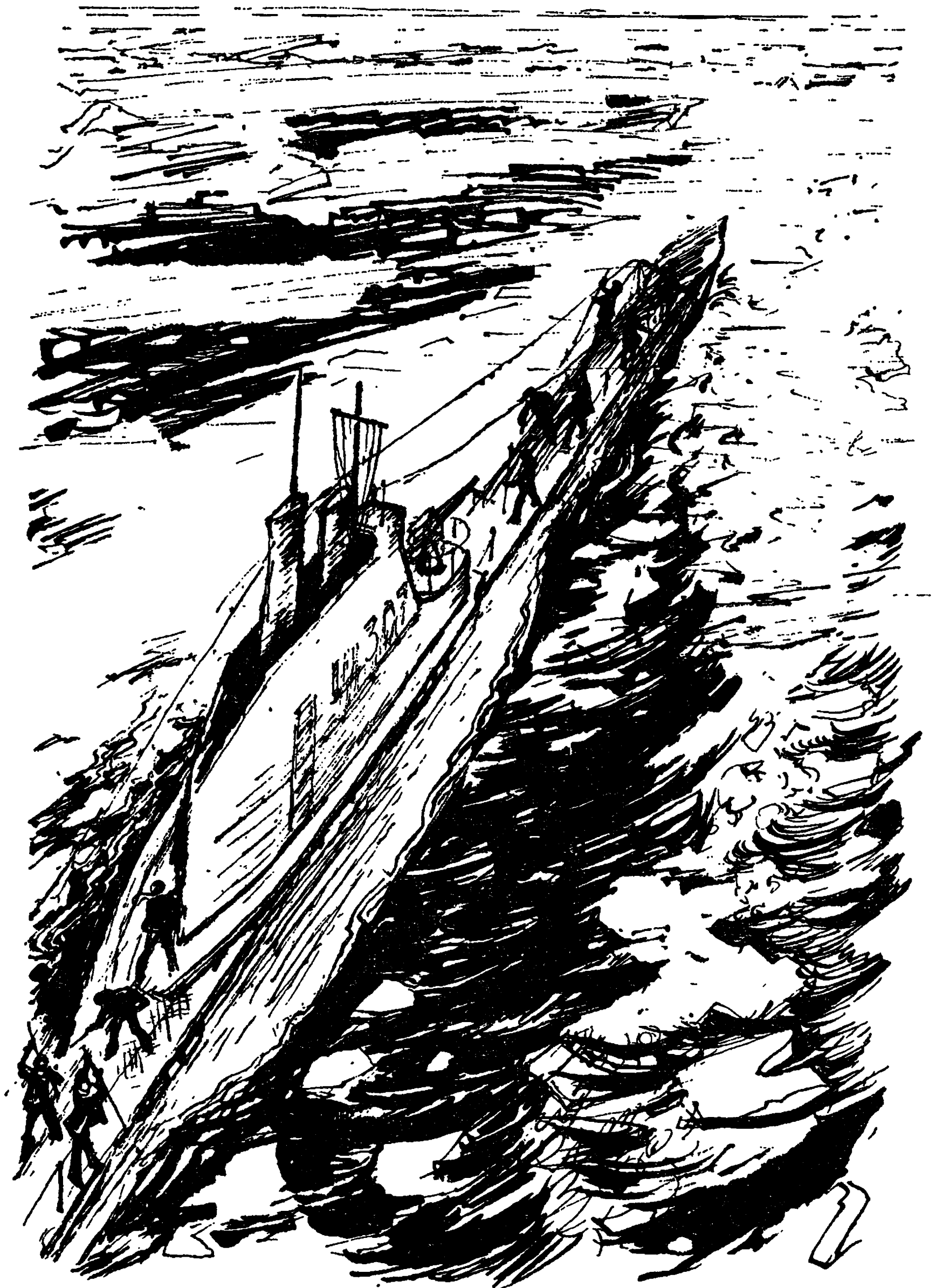
Наверху же лодку ждал мороз. Все, что выступало над водой,—мостик, рубку, орудия — он облеплял льдом. Лодка получала ненужную ей добавочную плавучесть, и никакими силами нельзя было бы загнать ее под воду в случае неожиданной встречи с врагом или приближения к береговым батареям. Тогда краснофлотцы выползали на ледяную скорлупу и, обвязавшись, скалывали ее топорами и ломami, сами сбиваемые с ног нестерпимо холодной водой,— и лодка вновь погружалась.

И когда наконец оказались на этом спокойном курсе и коку удалось сварить борщ и кофе, командир приказал спать всем, кроме боевой смены. В центральном посту осталось лишь несколько человек.

Лодка шла на небольшой глубине ровно и спокойно, даже не покачиваясь. Успокоительно жужжал гирокомпас, мирно чикали указатели рулей, по-домашнему пахло недавним обедом, и казалось, что это—обычный учебный поход. Только холод и сырость, вьевшиеся в борта и в одежду за долгие дни блокады, да карта на штурманском столе, где выразительными крестиками помечены места потопленных лодкой транспортов с боеприпасами, напоминали о том, что было до этого похода.

Лодка держалась в заливе до последней возможности. Уже прихватило берега плотным береговым припаем и пора было уходить в базу. Но оставались еще топливо, снаряды и торпеды, и лодка продолжала стеречь морскую дорогу к врагу. Это не было ни упрямством, ни рекордсменством — это было военной необходимостью.

Ботника была одним из важных путей снабжения врага снарядами, оружием, боеприпасами. Ботника была как поддувало горячей печи: прикрыть его — и свернется, а может быть, замрет на фронте огонь, лишенный своей взрывчатой пищи,



и тысячи человеческих жизней будут сохранены для труда и счастья. И то, что у одного из крестиков на карте стояло позавчерашнее число, доказывало, что лодка задержалась здесь не зря: враг, уверенный, что советские подводники, не выдержав зимних штормов, уже сняли блокаду, попытался подвезти боеприпасы. Но у самого входа в ледяной фарватер оба транспорта трескучим фейерверком взлетели к низким снеговым облакам, и огненные столбы взрыва показали, что советские подлодки еще здесь.

Но дальше оставаться в Ботнике было нельзя: небывало суровая зима могла сковать льдом проходы между островами и тогда залив стал бы ловушкой или могилой. И сразу после атаки командир проложил курс на юг, торопясь к проливу, пока шторм, разбивая льдины, не давал единственному выходу в море закрыться льдом.

К рассвету лодка подошла к проливу. Командир был наверху один. Охрипший его голос передал по трубе в центральный пост пеленги на мысы и уцелевший маяк. Штурман нанес место на карте, чтобы начать от него слепую подводную прокладку, но командир почему-то долго не спускался вниз. Наконец на трапе показались его ноги, он задраил выходной люк и скомандовал погружение.

Лодка ушла на небольшую глубину, скрываясь от батарей, стерегущих пролив, и скоро, очевидно, оказалась между островами, потому что качка постепенно стихла и началось это блаженное безмятежное плавание, по случаю которого командир распорядился об отдыхе и даже штурмана отослал спать. Командир спокойно поглядывал на счетчики лага, на часы, на карту, негромкой командой менял курсы, строго держась найденного в свое время безопасного фарватера, и всем в центральном посту казалось, что все идет нормально. Только боцман Вязнов, испытанный горизонтальный рулевой, заметил, что капитан-лейтенант нынче что-то не в себе: он то и дело шагал циркулем по карте, подолгу стоял над ней, перелистывая лоцию. Потом вынул из стола целый ворох метеорологических телеграмм, опять читал лоцию, проводил на карте много южнее выхода из залива кривые странные линии, смотрел на них, что-то прикидывая, и наконец, резко отодвинув в сторону толстый том лоции, недовольно буркнул:

— А что мне, легче, что раз в сто лет...

Боцман поднял на него глаза, но командир строго приказал ему точнее держать глубину и снова наклонился над картой.

Все это не походило на его обычную спокойную приветливость. Но в конце концов он, видимо, что-то решил, потому, что убрал и лоцию и сводки, вычистил резинкой карту и, сделав на курсе пометку далеко впереди, плотно запахнул реглан и сел на разномжку вздремнуть.

Мало-помалу лодка начала оживать — и самый усталый человек когда-нибудь да выспится. Подводники просыпались, сами не веря себе, что этот спокойный курс еще не кончился. Началось всеобщее бритье — из того расчета, что после всплытия вновь будет валять до самой базы. Пришел кок и спросил разрешения давать завтрак (хотя по часам это никак не могло так называться). По лодке потянуло вкусным запахом — на этот раз какао. Выпив свою чашку, капитан-лейтенант послал за помощником, приказал ему идти намеченными курсами, ни в коем случае не всплывая, и разбудить его за полчаса до намеченной по карте точки.

Но когда он вновь пришел в центральный пост, было видно, что сон никак не освежил. Казалось, он вовсе не спал: командир осунулся, почернел и глаза его были воспалены. Он обменялся короткими словами с помощником, отпустил его и снова присел на свою разномжку.

На горизонтальных рулях снова нес вахту боцман Вязнов, и с ним стояла вся лучшая смена: трюмные, электрики, вертикальный рулевой — все были отличниками и коммунистами. Капитан-лейтенант подолгу задерживал на них взгляд, как бы оценивая каждого заново.

В лодке стали утихать голоса, все, кто мог, снова прилегли поспать, пользуясь спокойным плаванием, и почти никто не проходил больше через центральный пост, но капитан-лейтенант вдруг негромко сказал:

— Задрайте двери, чтоб не ходили тут...

И когда последний барашек водонепроницаемых дверей был повернут до места, он так же негромко приказал.

— Товарищ боцман, всплывайте на перископную глубину. Полегоньку.

Электрик тотчас взялся за рубильник, чтобы поднять из шахты перископ, как полагается это при всплытии, но командир остановил его жестом, глядя на глубомер. Вязнов осторожно переложил рули, лодка поднялась носом, глубомер медленно повел стрелку влево. Но когда она переползла через цифру, означающую, что перископ (если бы он был поднят над рубкой) мог бы уже видеть горизонт, — лодка качнулась, будто рубка

наткнулась на какое-то препятствие, мешающее ей выглянуть из воды, и глухой шум донесся сверху.

— Так,—сказал капитан-лейтенант,—продуть среднюю.

Трюмный открыл воздух, меж бортов заурчала вода, вытесняемая из цистерн, но стрелка глубомера замерла на том же делении, а палуба вдруг покосилась под ногами. Капитан-лейтенант махнул рукой, и трюмный, не спускавший с него глаз, заиграл своими рычагами и штурвальчиками. Лодка, вновь приняв воды, пошла вниз, медленно выпрямляясь на ровный киль.

— Давайте на прежнюю глубину,—сказал командир и обвел глазами всех, кто был в центральном посту.— Все понятно? Ну и молчок.

Все было понятно; то что мешало лодке всплыть, не было отдельной льдиной, которая могла бы соскользнуть с рубки. Крен лодки, упершейся рубкой в лед, означал, что это было ледяным покровом.

Все в центральном посту молчали.

Капитан-лейтенант склонился над картой, шагая циркулем вперед по курсу. Он наметил новую точку впереди и повернулся:

— Товарищ боцман, вызовите смену, а со своей пока отдохните. Через три часа попробуем еще разок. Где-нибудь да кончится... В лодке лишнего не болтать, незачем остальным беспокоиться. Понятно?.. Отдраить двери.

Вахта сменилась, спокойное плавание продолжалось, и никто, кроме ушедшей спать смены, не догадывался, что отсутствие качки объяснялось тем, что все это время лодка шла под сплошным ледяным потолком.

В том месте, где капитан-лейтенант, пройдя замерзший пролив, попытался всплыть, Балтийское море не замерзало ни разу за сто лет, и он никак не мог рассчитывать на это коварство природы. Когда на рассвете лодка подходила к проливу и когда вместо черной бушующей воды командир увидел гладкую белую пелену, он понял, что пролив все-таки замерз, несмотря на шторм. Тогда он вынужден был нырнуть под лед, пройти под ним пролив, чтобы вынырнуть далеко в море, там, где огромные, непрестанно движущиеся водяные горы замерзнуть, конечно, не могли.

И лодка ушла под лед, южная кромка которого была неизвестно где, но где-то, несомненно, должна была быть.

Должна... но была ли?

Место, которое капитан-лейтенант назначил себе для первой попытки всплыть, было на десять миль южнее той самой крайней линии ледяного покрова, какую лоция Балтийского моря указывала в качестве единственного за сто лет события. Эти десять миль были поправкой на нынешнюю зиму. И все же оказалось, что и здесь, где даже в тот исторический год была чистая, незамерзшая вода, теперь был настоящий лед...

В подводной лодке, как нигде, надо уметь владеть своим воображением. Стоило на секунду дать ему волю, как на карте тотчас нарастали две белые полосы. Они закрывали собой черные цифры глубин, двигаясь навстречу друг другу от северного и южного берегов. Они сходились бесшумно, и где-то под ними металась обреченная лодка...

Надо было упорно думать, где могла быть чистая вода. Она должна была быть. Она не могла не быть.

Искать указаний на это в лоции было бесполезно. Старушка, как и полагается старожилам, уже честно призналась, что такого не запомнила за сто лет. Спрашивать у других — означало только покушаться на их спокойствие. Оставалось сидеть на разномыслии, ждать еще три часа и снова пробовать всплыть.

Но когда через три часа пришел боцман Вязнов со своей сменой, оказалось, что о ледяном потолке, нависшем над лодкой, как крышка длинного гроба, думают не только капитан-лейтенант и те, кто был свидетелем попытки всплыть. Подводникам стал ясен и крен, и странный шум над головой, и капитан-лейтенант понял взгляды, которые кидали на него краснофлотцы, проходя через центральный пост.

Капитан-лейтенант прижал губы к трубе, проведенной по всем отсекам, коротко объяснил всей команде, в чем дело, и дал знак к всплытию.

Теперь, пытаясь выбраться из-под льда, лодка яростно кидалась снизу на его плотную броню. Она царапала его рубкой с полного хода. Застопорив машины, подкрадывалась к нему по вертикали, чтобы отчаянным усилием, продувая все цистерны, приподнять гигантский ледяной покров Балтийского моря. Люди на своих боевых местах покрывались потом, как будто это они сами — своими плечами — пытались взломать нависший над ними потолок.

Но ледяной покров пробить не удалось. И лодка ушла на глубину, как уходит от плотного беспощадного стекла аквариума быстрая, но мягкая рыба.

На глубине капитан-лейтенант приказал замерить плотность батарей. Энергия была на исходе. Теперь ее не хватило бы и на то, чтобы вернуться в залив, туда, где была еще чистая вода. Он наклонился над картой, прикидывая господствующие ветры, глубины, течения, потом резко изменил курс к западу, в сторону от базы, и вышел из центрального поста.

В отсеках шла нормальная походная жизнь. Подводники держали себя спокойно, даже шутили, но капитан-лейтенант то и дело ловил пристальный взгляд, немой вопрос, обращенный к нему. Все имеет пределы — и выдержка и мужество. Испытание было слишком длительным.

Тогда он прошел в каюту, взял книжку, вернулся с ней в центральный пост и углубился в чтение.

Он читал сосредоточенно, иногда усмехаясь и переворачивая страницы, чтобы перечитать понравившееся место. И краснофлотцы, проходя, словно по своим делам, через центральный пост, видели: сидит капитан-лейтенант и читает, как будто лодка самым будничным образом идет в чистой воде. Значит, по балтийской поговорке, все было нормально. Зачем же волноваться и гадать, где кончится лед, если командир сидит и, усмехаясь, читает книжку?

И только боцман Вязнов увидел то, чего не заметил никто. Когда командир поднял глаза на часы, боцман поймал однажды его взгляд. И такое подметил боцман в усталых, воспаленных глазах капитан-лейтенанта, что дрогнуло в нем сердце и циферблат глубомера на миг заволочся радужной пленкой. Колено боцмана касалось колена командира — разножки их стояли близко, — и боцман, хотя ему было неудобно, и нога затекла, и очень хотелось ее вытянуть, не мог оторвать свое колено от холодного командирского реглана: будто какая-то струя воли, спокойствия, решимости шла от этого незначащего прикосновения.

В поставленный самому себе срок капитан-лейтенант закрыл книгу и встал. Опять прогремели звонки к всплытию. Опять лодка пошла вверх, продувая цистерны, и опять раздался проклятый удар рубки о лед. Но стрелка глубомера, задержавшись на миг, резко пошла влево, достигла нуля, и лодка закачалась.

Подняли перископ. Стекланный его глаз показал битые льдины, плавающие вокруг. Волна раскачивала лодку все сильнее. Капитан-лейтенант, не отрываясь, смотрел в перископ (так нашедший в степи воду припадает к ней жадным ртом),

LL-HLLD
DC

3/5

Q



и тоненький белый лучик дневного света играл на красноватом белке его правого глаза. Потом он повернул голову, и все увидели прежнего командира.

— Штурман, пометьте-ка там в лоции, сто двенадцатая страница: кромка льда в северной части Балтийского моря может достигать широты — место снимите с карты... Дизеля к зарядке!

Он поднялся по трапу, с трудом открыл выходной люк, и веселые мелкие льдинки обдали его звенящим душем. Свежий морозный воздух хлынул в рубку, волна накренила лодку, и с разnojки на палубу скользнула книга.

Боцман Вязнов бережно поднял ее и положил рядом с лоцией. Это были «Грузинские сказки».

Решающий участок боя был на крайнем правом фланге, там, где, ворча, кипела большая кастрюля.

В этом бою с ожидающей камбузной утварью, которая ползала, прыгала и металась по плите, норовя выкинуть все содержимое на палубу, Алексею Сухову, коку-призывнику подлодки Щ-000, удалось одержать ряд немалых побед. Тесто и фарш, по природе своей лишённые маневренных способностей, уже томились в горячем плену духовки, превращаясь в румяные пирожки. Грудой поверженных тел громоздились на противне готовые котлеты. И даже злобная кастрюлька с соусом, носившаяся, как маленький торпедный катер, по всей плите, была ловко загнана в угол и прижата огромным чайником, могучую броню которого она теперь таранила яростно, но тщетно...

И только большая кастрюля не сдавалась.

Плотно вставленная в свое гнездо на плите, она в точности повторяла за лодкой то беспорядочное перемещение воды, которое называется качкой, и плескавшийся в ней кипяток бушевал совсем так, как и море за бортами подлодки. Сталкиваясь и взвихриваясь, маленькие и горячие волны били в стенки кастрюли, и стоило лишь поднять крышку, как яростный всплеск обжигал пальцы и добрая половина содержимого кастрюли оказывалась на плите. Сухов с проклятьем отскакивал, белый пар, шипя, заволакивал тесный камбуз и, вырвавшись из двери, сразу же оседал на переборке блестящими каплями,— из центрального поста тяжелой холодной волной тянул морозный воздух. Там было очень холодно: лодка, шедшая под дизелями, дышала через открытый люк.

Но еще холоднее было на мостике. Стылая декабрьская Балтика расшумелась вовсю, невидные во тьме волны швыряли лодку без всякой пощады и системы, и ледяной ветер порой срывал гребень с высокого вала и хлестал им из мрака по сигнальщику и по командиру. Мгновенно захватывало дух, и тогда капитан-лейтенант приседал и крякал, а сигнальщик молча обтирал лицо замерзшей перчаткой.

Поход был внезапен. Лодка недавно вернулась из тяжелой и длительной боевой операции, и ей был обещан заслуженный отдых. Уже готовились к встрече Нового года, уже прикупили к пайку мандарины, конфеты, отборные консервы, утром

началось повальное глажение брюк, но все это было прервано приказом. Надо было немедленно выйти в далекий район.

И вот уже целый день лодка шла по зимнему штормовому морю, и часы показывали двенадцатый час ночи, и в темном камбузе призовой кок Алексей Сухов сочинял мировой новогодний ужин.

Гвоздем ужина должен был быть задуманный Суховым компот с выразительным названием: «А все-таки Новый год!» Основой его были мандарины, которые в спешке сборов захватили с собой на лодку почему-то все командиры и краснофлотцы. Мандаринов оказалось столько, что расправиться с ними можно было только при помощи компота. И вот лежали они в миске, борясь своим тонким и свежим ароматом с душным запахом теплого масла и горючего, наполнявшим лодку, и добровольные помощники уже принесли тщательно срезанную тонким пластом розовую их кожу, а проклятую кастрюлю никак нельзя было открыть.

Сухов нервничал, поглядывая на часы.

Сгрудившиеся у двери «помощнички» с притворным участием давали советы один ехиднее другого: кто предлагал налить в кастрюлю масла, основываясь на его свойстве укрощать бушующие волны, кто изобретал сложную механическую кастрюлю с сеткой, которая якобы удержит всплески, а кто попросту советовал оставить кипяток только на доньшке, ввалить в кастрюлю мандарины, посолить, поперчить, протушить — и подавать под названием «штормовая запеканка».

Разъяренный Сухов захлопнул дверь и в раздумье стал перед кастрюлей, болтаясь вместе с ней и с лодкой. Так его застал капитан-лейтенант, спустившийся с мостика погреться.

— Ну-ка горяченького, товарищ Сухов,— сказал он, разматывая обледеневший шарф.— Как у вас дела?

— Плохо, товарищ капитан-лейтенант,— хмуро ответил кок, ловко взрезая булку и всовывая в нее сочную, истекающую маслом котлету. Он положил ее на тарелку и потом налил в кружку ароматного крепкого кофе. Командир торопливо отхлебнул два глотка и с радостью почувствовал, как тепло входит в его промерзшее тело.

— С чем плохо? — спросил он, потянувшись к тарелке.

Сухов, вздохнув, собрался было признаться, что плохо с компотом, как вдруг лодку резко швырнуло и накренило, миска с мандаринами поползла к краю стола, и Сухов едва успел ее подхватить. Тарелка, как снаряд, вылетела из-за миски и со



звоном разбилась на палубе, а кофе в командирских руках наполовину выплеснулся из кружки, облив кожанку.

— Так,— сказал капитан-лейтенант, с огорчением глядя на погибшую котлету.— Вижу, что плохо. Удивительно, как это вы кофе ухитрились сварить. Как же мы столы накроем?

Он допил остатки и протянул кружку за добавкой.

— Отставить Новый год! — сказал он решительно.— Эдак у вас весь кофе выплеснет. Раздавайте сейчас ужин, товарищ кок, пусть едят по способности. А вам еще придется поработать. Новый год все-таки встретим... своевременно или несколько позже... Утром встретим — понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— ответил Сухов, повеселев.

В самом деле, все было понятно. С рассветом лодка, опасаясь быть обнаруженной противником, все равно должна будет уйти на глубину. А глубина в шторм — самое милое дело: не мотает, не качает, можно и стол накрыть как следует, и тост сказать. А самое главное — этим неожиданным переносом Нового года была спасена честь призывника-кока: на глубине не только компот можно сделать... Сухов хитро посмотрел на проклятую кастрюлю и выключил ток.

Кофе уже выпили «по способности», то есть полулежа или скрючившись, зажавшись между стойками, и котлеты были уже уничтожены, когда репродуктор заполнил лодку родным и знакомым шумом Красной площади. Командир спустился в центральный пост, где была переговорная труба, проведенная во все отсеки.

Шум площади прорезался звучным перезвоном курантов, потом гулко ударили часы Кремлевской башни. А через открытый люк доносились тяжелые удары волн и свист ветра. Мокрый и обледеневший капитан-лейтенант выждал последний удар часов и потом сказал в переговорную трубу:

— Второй боевой смене заступить! С Новым годом, товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, с новыми боями за Родину.

Он помолчал и потом добавил:

— Объявляю приказ по лодке: ввиду особых условий перенести встречу Нового года с нуля на девять ноль-ноль первого января. Части снабжения обеспечить нормальную встречу, личному составу побриться.

Он потрогал подбородок, подумал, но снова поднялся на мостик, в мокрый и морозный мрак. Там он вынул свисток из

переговорной трубы, приложил ухо к ее холодному зеву и, вздрагивая от ледяных брызг, долго слушал, как в лодке победно и могуче звучит «Интернационал».

Мутная мгла рассвета отделила наконец воду от неба. Оно проявилось нежно светлеющей на востоке полосой, и скоро серые тусклые волны обозначили свои горбы и провалы. Вода еще показалась холоднее и ветер — пронзительнее. Не раз сменялись на мостике сигнальщики; не раз выходил помощник подменить командира, и наконец капитан-лейтенант скомандовал: «К погружению!»

К этому времени Сухов сбил из сгущенных сливок некоторое подобие крема. И едва лодка, покачавшись последними замирающими размахами, твердо установилась на спокойном подводном курсе, он зарядил упрямую кастрюлю мандаринами и принялся за «скульптуру». На выпеченном за ночь торте появилась маленькая подлодка из крема — точная копия родной «щуки» — и новогодняя надпись. И когда озабоченный помощник командира, пахнувший одеколоном, в чистом воротничке, заглянул в камбуз — у Сухова было все готово.

В носовом отсеке тесно, но уютно, накрыли стол, и помощник пошел будить капитан-лейтенанта, прилегшего на часок отдохнуть. Тогда у стола появились врач и Сухов. Хитро улыбаясь, они несли настоящее шампанское вместо штатного подводного портвейна: это был заботливый подарок порта лодке, уходящей в море под Новый год. Сухов поставил бутылки, взял в руки поварешку и большую кастрюлю и приготовился отбить по знаку штурмана двенадцать медных ударов, а политрук занес мембрану патефона над диском «Интернационала»...

В восемь часов пятьдесят восемь минут в отсек вошел капитан-лейтенант, свежий, выбритый, праздничный, скомандовал «вольно» и протянул руку к серебряному горлышку красивой бутылки. Звонкий веселый хлопок пробки готов был раскатиться по лодке... Но вдруг извне грохнул тяжелый глухой удар. Лодка покачнулась. Две лампочки потухли. Тревожным прерывистым воем залились резкие звонки — и смолкли. Тишину нарушил быстрый топот ног, короткие команды, с металлическим стуком захлопнулись водонепроницаемые двери, и в лодке все замерло. Только жужжали моторы да звучно щелкали указатели рулей. Лодка заметно наклонилась носом, жужжанье моторов усилилось — направляемая рулем, она полным ходом шла на глубину, резко меняя курс.

Ударил второй взрыв, лодка содрогнулась, два стакана, звеня, упали с праздничного стола. В черном провале переговальной трубы раздался спокойный голос капитан-лейтенанта:

— Глубинные бомбы. В отсеках осмотреться!

Осмотрелись: корпус выдержал, швы нигде не пропускали.

«Щука» быстро уходила на предельную глубину. Потом моторы сбавили обороты, чуть ощутимо качнул лодку мягкий толчок, моторы стихли, и лодка легла на грунт.

Все слабее, все дальше звучали взрывы. Видимо, гидрофоны противника потеряли замолчавшую лодку и враг швырялся теперь бомбами лишь для очистки совести. Но молчание и тишина в лодке не нарушались.

Акустик последовательно докладывал, что шум винтов удаляется, что он едва слышен, что гидрофоны не слышат ничего. Тогда капитан-лейтенант скомандовал:

— Боевой тревоге отбой. Личному составу собраться в носовом отсеке. Говорить вполголоса. Будем встречать Новый год, пока есть время.

И в носовом отсеке собрались все, кого боевая служба не задержала у механизмов. Шампанское открывали с такой осторожностью, будто разоружали боевую мину,— медленно вытаскивая пробки, чтоб не наделать шуму: противник мог быть и над головой. Благородное советское вино празднично шипело, вздымаясь легкими веселыми пузырьками. Капитан-лейтенант поднял свой стакан.

— Товарищи, боевые друзья!—сказал он тихо и обвел глазами краснофлотцев и командиров.

Они стояли перед ним плотной живой стеной — спокойные и веселые люди, как будто эта необычайная встреча Нового года происходила не на дне моря под пристальным и чутким слухом врага.

Особым — военным — блеском сверкало вокруг них сложное и могучее подводное оружие, выстроенное новым поколением советских людей. Торжественную тишину нарушало только тиканье часов над торпедными аппаратами. Капитан-лейтенант взглянул на стрелки и вдруг широко улыбнулся.

— Своевременно или несколько позже,—сказал он.— Одиннадцать часов тридцать семь минут. Докатился и до нас Новый год... Велика наша Родина, товарищи! Самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы огромная наша Советская страна вся вступила в новый год своих побед... Будет время, когда ему понадобится для этого не девять часов,

а круглые сутки. Потому что каждый наш год — это ступень к братству народов всего земного шара...

Он остановился в раздумье и снова посмотрел на часы.

— Несуразное время, и точно... Девять раз встречали Новый год сегодня в Советском Союзе, начиная с Тихого океана и кончая родной Балтикой, а вот нам привелось встречать его в десятый. И кто знает, товарищи, как приведется нам встречать Новый год через пять, через десять лет? По какому поясу? На каком новом меридиане? С какой новой страной, с каким новым народом будем мы встречать Новый год, если будем так же крепко беречь Родину нашу, где для всего человечества зреет и крепнет счастье? За мужество, за верность партии, за Родину, за победу над врагом!

— Ура!.. — вполголоса ответили краснофлотцы, и тотчас где-то около торпедных аппаратов возник «Интернационал».

Его пели чуть слышно, потому что вода могла передать звук в растопыренные сторожкие уши вражеских гидрофонов там, наверху. Но этот сдержанный голос боевого коллектива звучал единой могучей волей балтийских подводников, звучал как клятва в верности Родине, верности до последнего вздоха.

Истребители пошли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развевался голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий, легкий шарф, повязанный на руке, вскинувшей меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф: все летчики прикрывают шею скользящим шелком, чтобы не натереть ее до крови о воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой.

Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано «мессершмиттами». Они были со всех сторон — и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не был — пришлось кинуться на выручку к Азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка завтра же в рассветной мгле разгромить на нем немцев.

Самолеты поставили в надежные укрытия (здесь, под Одессой, аэродром был совсем рядом с фронтом), и мы пошли к блиндажу. Смеясь, я сказал майору о витязе и прекрасной даме. Он поднял на меня глаза, еще воспаленные ветром высот и боем, и улыбнулся. Теперь, без шлема, лицо его, окруженное голубой пеной шарфа, показалось мне старше. Майору было, вероятно, за сорок.

За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что «мессер», подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф, и посыпались шутки.

— Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют, — сказал полковник. — И куда тебе целый отрез?

— Удобно, — ответил майор. — В нем голова, как в подшипнике, вращается.

— А Миронов у тебя с каким-то чулком летает. Разорви ты свой шарф пополам.

— Клятву не порвешь, товарищ полковник, — сказал майор полушутя-полусерьезно. — Я уж как-нибудь булавками подкалывать буду.

— Это ж амулет, товарищ полковник, — рассмеялся Миро-

нов.— Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит, надо ж понимать: старый летчик...

Вылет был назначен на пять утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором. Устраиваясь, он и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку.

На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки, шурша, осыпался песок: по аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов.

Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат,— и воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и показалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу, врезанные в спокойных чертах его лица, как в мраморе.

Я приподнялся на локте. Майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиации, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтической девушке такое чувство. Вернее было другое. Я вспомнил, как за ужином он мельком сказал, что при переводе в этот полк ему удалось заехать домой, где он никого не застал: город был под угрозой, и все уехали.

Я представил себе, как он вошел в брошенную квартиру, где все знакомо, все напоминает о близких сердцу людях, где все — стыло и пусто, все кинуто в горьком беспорядке торопливых сборов и где призраками стоят лишь воспоминания — о мирной жизни, о надеждах, о родной ласке и тепле, которых не найдешь или найдешь не скоро... Я увидел, как стоит он посередине комнаты, оглядывая ее, как сжимаются его губы, как, быть может, слезы ярости и тоски набегают на глаза и как молча он берет в руки первую попавшуюся вещь: голубой шарф, воздушно-легкий призрак былого.

Может быть, у меня родилось бы еще несколько вариантов, но майор пошевелился и открыл глаза.

— Вот ведь, черт, храпит,— сказал он, увидев, что я не сплю.— Хуже стрельбы, ей-богу... Силен...

Храпел Азарианц, утомленный боем. Порой, рывкнув с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд, Азарианц во сне



отвечал ему рычанием потревоженного огромного зверя — и вся музыка начиналась сначала.

— Нет, не заснуть,—со вздохом сказал майор.— Покурим?

Мы закурили, и скоро потекла та негромкая беседа — голова к голове,— когда ни залпы, ни разрывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов.

В боях и в вечной к ним готовности военным людям некогда разговаривать друг с другом о своих чувствах. И чувства их, как жемчуг, оседают в душе сгустком плотным и драгоценным. Но сердце живет, и тоскует, и жаждет открыть не высказанные никому свои тайны. И вот в тихой беседе с гостем, случайным человеком, готовым слушать всю ночь,— в такой ли землянке под грохот снарядов, в окопе ли в ночь перед наступлением, в каюте ли идущего в бой корабля,— военные сердца раскрываются доверчиво и желанно. И такое увидишь порой в прекрасной их глубине, что и сам воин, и подвиги его освещаются новым светом. И завеса над тайной рождения отваги приподымается, и в меру познания своего ты понимаешь, что такое ненависть к врагу.

Мои романтические догадки оказались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее.

В начале войны майор дрался на Балтике. Придя из запаса, он был сразу назначен на охрану небольшого эстонского города. Город этот жил еще старыми представлениями о немцах, и никто в нем не верил всерьез, что они бомбят мирные города. Поэтому на чудесном его пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Майор, барражируя над городом, охранял его отдых и его детей, ища в небе врага. Небо было синим и глубоким, море — теплым и ласковым, песок — горячим и золотым.

Это случилось в воскресенье 29 июня. Он увидел «юнкерс» слева над морем и ринулся к нему. Майору не повезло: фашистский стрелок пробил ему бак, и пришлось идти вниз. «Юнкерс» ускользнул, и майор увидел, как в городе встали черные грибы разрывов. Маленькие аккуратные домики тотчас задымились.

«Юнкерс» повернул к морю, спикировал на пляж — и розово-желтая пена человеческих тел хлынула в море. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, как будто вода могла прикрыть их от пуль. Они ныряли в нее, стараясь стать невидимыми. Но «юнкерс» сделал второй заход — и человеческая волна выплеснулась из моря и хлынула под защиту цветистых зонтов,

палаток, навесов, оседая на песке крупными неподвижными каплями.

Не помня себя от бешенства, майор бесполезно стрелял по черной удаляющейся точке. Мотор его наконец стал. Он опомнился.

Сесть теперь можно было только на пляж. Майор повел туда подбитую машину, но весь пляж был в трупах детей и женщин. Недвижимые, страшные в предельной беззащитности обнаженного человеческого тела, они лежали на песке. Наконец он нашел на краю пляжа место, свободное от них.

Он выскочил из кабины, шатаясь. Кровавый туман плыл в его глазах. Ничего не видя, ничего не понимая, он шел как потерянный, не зная куда, пока не споткнулся. Взглянув под ноги, он отпрянул.

Перед ним лежала обнаженная девушка, склонив на плечо голову. Солнце золотило ее нежную кожу и легкой тенью отмечало неразвившуюся грудь. Ниже груди кровавый тонкий поясок опускался к левому бедру — след быстрых, острых пуль, пронизавших насквозь живот. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф — единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль на бегу.

Он поднял его, осторожно разжав еще теплые тонкие пальцы. И так, держа этот шарф и смотря на пляж, усеянный детскими, девичьими и женскими телами, он дал себе молчаливую клятву.

Он не сказал мне ее. Но каждый, в ком бьется человеческое сердце, найдет ей слова, запоминающиеся на всю жизнь.

— Я сплю с ним, чтобы и во сне не забыть о ненависти, — сказал майор, приподымаясь.

Он развернул шарф. Пышная его бахрома была как бы обгрызена. Я вгляделся. Это были узлы: кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопками — аккуратными плотными шариками. Кнопов было шесть, змеек — восемь. Продолжая говорить, майор начал плести новую змейку.

— Сегодняшний «мессер», — сказал он без улыбки, — а кнопки — это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, на смех подымут, вот, скажут, нашел майор игрушки...

Он помолчал, деловито сплетая шелковые нити, потом поднял голову. Лицо его меня поразило.

— Какие тут игрушки, — сказал он глухо. — Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет...

Не прошляпь я тогда с тем «юнкерсом»... Ну ладно, что в Москве нового?..

В пять ноль-ноль полк в полном составе вылетел на штурмовку найденного майором аэродрома. Самолеты один за другим поднимались в темноту, и было удивительно, как сумели они там выстроиться за ведущим «ястребком», где был майор.

Часа через полтора самолеты так же один за другим садились на поле. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, собирались в кучки, обмениваясь рассказами. Все сошло как нельзя лучше: майор точно вывел весь полк бреющим полетом из-за леска прямо на аэродром. Немцы не успели дать и залпа. В рассветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали девять бомбардировщиков и восемь истребителей.

Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как дотянул до поля и сел. Мы побежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем алели пятна крови.

— Товарищ полковник, — сказал майор, не шевелясь. — Кажется, меня надо вынимать. Пустяки, в плечо... и в ногу что-то.

Пока бежали с носилками, он доложил полковнику, что после первого захода увидел на западе пять «мессеров» и пошел к ним навстречу (поскольку над аэродромом «все шло нормально») и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому.

Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф. Он протянул к нему здоровую руку. Мы поцеловались.

— Теперь на всю поправку работы хватит, — сказал я ему негромко, — еще девять кнопов и восемь змеек.

Он улыбнулся мне, как ребенку, не знающему правил игры.

— Нет, то не мои... Это ребята били. Я одну змейку сплету: одного-то из тех пяти я все ж таки стукнул...

Носилки качнулись — и он вышел на время из боев, витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистой и горячей, как и его ненависть.

Бой ушел вперед.

Он гремел теперь далеко в степи, и сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов. Над опустевшими окопами, вырытыми в агротехнической посадке вдоль ровной аллеи, легкий ветерок чуть шевелил деревья, вернее, огрызки деревьев.

Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры, ветви — надломлены, обгрызены, посечены. Листья, пробитые и надорванные, преждевременно пожелтели. Изуродованная зелень молчаливо свидетельствовала о том, что вытерпели люди, укрывшиеся под ней в неглубоких своих окопах. Две недели свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули — и когда-то высокие и пышные акации превратились в низкий общипанный кустарник.

Две недели бились здесь черноморские моряки, сошедшие с кораблей для смертельного боя с фашизмом.

Это были два батальона Первого морского полка. В начале осады Одессы его сформировал и повел в бой командир Одесского военного порта полковник Осипов, старый моряк, матрос с «Рюрика» и «Гангута», который в гражданской войне бился в Первом кронштадтском экспедиционном отряде и командовал матросским отрядом на Волге. Новый полк в первом же бою отбросил румын от ближних подступов к городу и захватил эту посадку у колхоза Ильичевка. Она была очень важна: во-первых, она закрывала врагу подход к высоте, выгодной для обстрела Одессы, во-вторых, отсюда в свое время, с прибытием подкреплений, командование рассчитывало начать новый удар.

Это отлично понимали и осаждающие. На два батальона моряков, державших посадку, румыны бросили целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Посадка оказалась в фактическом окружении: спереди, сзади, слева и справа были румыны, и только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали морякам цинки с патронами, мины, пищу и воду.



И по этой же кукурузе не раз пробирался к своим бойцам полковник Осипов, чтобы осмотреть позицию, распорядиться насчет отражения очередной атаки и, кстати, побеседовать по душам.

— Окружением маленьких пугают,— говорил он своим глуховатым негромким голосом, пережидая разрывы мин и снарядов.— Поглядите, как вы тут ладно устроились: посадочка-то ваша углом идет. Полезут румыны с тыла, внутрь угла попадут: будете их с двух сторон бить. Справа навалятся — левая посадка фланговым огнем их положит. Слева сунутся — правая так же будет во фланг косить. Ну, а если черт их понесет на самый уголок, тут у вас полная мощь огня, понятно?.. За такую посадку денежки платить можно. Ваше дело — не зевать, высматривать, откуда полезли. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем. Не на мертвый же якорь тут стали!

И моряки держались. Ежедневными атаками враг пытался сломить их сопротивление. Две недели подряд одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку до восьми волн) — и разбивались о твердость и мужество краснофлотцев, как о скалу.

Грудами трупов, наваленных друг на друга, эти волны так и застыли у окопов неопровержимым доказательством краснофлотского мужества и стойкости. Пули, остановившие их на бегу, были у них во лбу, в сердце, в груди — точные, прицельные пули спокойного морского огня. Убитые лежали без оружия: оно попало в руки моряков, и солдаты, лежавшие сверху недвижимой этой груды, были повалены пулями из румынских же автоматов и пулеметов, принесенных сюда накануне теми, кто лежал внизу.

Только полсотни шагов отделяло убитых от посадки. Так учил своих бойцов полковник Осипов:

— Не нервничай, ближе подпускай. Они в атаке орут, поливают из автоматов, на психику берут, вон как вчера шагали — в восемь рядов, с музыкой и иконами: нам, мол, все нипочем!.. А вы их тоже на психику берите: топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться... Молчите и поджидайте. Пусть на предыдущих ораторов полюбуются: тоже на мораль действует, экое кладбище навалено!.. Вот когда так подойдут, что их карточки рассмотришь, когда глаза их увидишь, а в них страх,— тогда и бей в лоб. Веселее будет: одного повалишь, десять сами назад побегут...

И сидели моряки под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки, сидели и под диким ливнем автоматического огня наступающих румын. Сидели, «не нервничали», молча давая атакующим дойти до груды трупов и понять, что тут — смертный рубеж, которого не перейти, что так же, как сегодня, шли на эту посадку вчера, и позавчера, и неделю назад другие роты и батальоны. И небритые лица румын, уже перекошенные страхом подневольной атаки, впрямь искажались ужасом перед грозным молчанием морских окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев морских полков. Моряки пошли с кораблей в бой в чем были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках. Такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда, подпустив их вплотную к окопам, моряки встретили их яростным и точным огнем, когда, словно вой шторма, пронеслись по полю и свист, и крик; и издевательское улюлюканье, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки в бешеной контратаке и нельзя было ни автоматами, ни пулеметами остановить их неудержимый бег, когда внезапной угрозой вставали над желтой кукурузой черные бескозырки и могучие руки в черных рукавах бушлата заносили над грудью острый и быстрый штык...

С первых этих встреч многое изменилось во внешнем виде морской пехоты: краснофлотцев переодели в защитную форму. Но часто, взлетая на бруствер окопа, словно на трап по тревоге, быстрым морским прыжком, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотскую бескозырку, и черные фуражки опять мелькали в кукурузе наводящим ужас видением «черной тучи» — нетерпеливой, грозной силы, устремленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Таким запомнили моряков румыны. Нам же, кто видел и помнит прежние бои за революцию, знакомо и это мелькание бескозырок в зелени кустов, знакомы и ленточки, развевающиеся в атаке. Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах — везде, куда посылали их революционный народ и партия; как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти, новые, моложе, пусть за плечами у них нет

долгих лет царской службы, школы ярости и гнева, но это — одно племя, одна кровь, одна мужественная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках и с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого или с Ледовитого океанов.

На берегу они сохраняют в своих бригадах и полках ту же сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем. Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом — локоть к локтю, сердце с сердцем, — необыкновенно сближает людей, связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив.

И это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля, — сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в батальоне, но, глядишь, через недельку этот окоп или блиндаж напоминает кубрик. Уже появились ласково-грубоватые прозвища, уже летают свои, понятные только здесь шутки. Уже всем известно, что Васильев с «Червонной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощадного» — отличный снайпер, что старшина роты, комендор с «Ворошилова», человек очень горячий и что в атаке за ним надо присматривать и, в случае чего, выручать: того и гляди, полезет один против десяти и погибнет зря из-за своего характера. Уже все знают, что нет в полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика — не тот Иванов из авиабригады, который пристрелил мотоциклиста и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с канлодки, что пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: напоролся на разведчиков, одного стукнул по голове, другой же сам лапки кверху, — а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне...

И каждый из моряков с восхищением и почтительной завистью к отваге будет целый час рассказывать вам о своем полковнике, о его шутках, о его личных подвигах, о его легендарной машине, пробитой осколками и прошитой пулеметными очередями, на которой он подлетает к окопам, словно на катере к парадному трапу. С любовью, как о близком друге, расскажут вам моряки о военкоме полка Владимире Митракове, о том, как видели его всегда рядом с собой в самых опасных местах, как обучал он моряков стрельбе из трофейных автоматов, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, веселую шутку и дружеское, теплое слово,

и как провожали его, раненного, в тыл, как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят.

Посидите с моряками вечером в окопе — и вся жизнь нового коллектива, этого корабля на суше, встанет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрейших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, и во всяком взводе увидите вы неразлучных друзей, из которых каждый отдаст жизнь за нового своего друга, «корешка» или «годка»...

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот мужественный дух, традиции и боевые навыки, эту присущую морякам гордость за свой корабль (или батальон) и желание сделать его лучшим, красивейшим, храбрейшим. Молодого человека смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах между атаками никак не назвать ему тех, с кем он плавал, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, полужеста, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью. И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десяток врагов. Он хочет завоевать право не опускать глаз перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями-моряками.

Так получилось и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. В Третий морской полк, формировавшийся в Севастополе, он пришел добровольцем, не служив еще на флоте. В конце сентября крейсер с десантом подошел ночью к Одессе; моряки в темноте погрузились на баркасы и погребли к берегу, в тыл румынам. Вместе с остальными Мей прыгнул по грудь в холодную воду и так же, как остальные, не почувствовал холода (моряки потом говорили: «Холодная вода, понятно... Но очень тогда азартно было, не замечали...»). В темноте взвод его ворвался в прибрежную деревню, напоролся там на тяжелые орудия, перестрелял и переколол немецких артиллеристов. Там провел Мей ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов Первого морского полка (покинувших наконец для этого свою знаменитую посадку у Ильичевки) отбросил врагов на несколько километров. Моряки

заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах, повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу и порт от обстрела тяжелой немецкой батареей. Орудия были отправлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет».

Немецко-румынские фашисты решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на Третий полк. Враги пытались подавить его сопротивление количеством: утром 29 сентября на окопы, где был один третий батальон этого молодого полка, двинулось до полутора тысяч румын.

Автоматчики их еще в темноте подкрались к окопам на семьдесят метров и с началом атаки открыли огонь, держа моряков в земле и не давая поднять головы. Моряки, как обычно, подпустили атакующих поближе и скосили первую волну. Трое краснофлотцев — Димитриенко, Вчерашний и Лисьев — выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием стали бить во фланг следующей цепи румын, пошедшей в атаку.

В окопе сперва не заметили, что вслед за этими тремя выскочил и Мей. Он залег с винтовкой в кукурузе, стреляя вдоль румынской цепи. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти румын со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, отбил пулемет. Он быстро повернул его и погнал им все шесть десятков солдат назад. Увлечшись этим, Мей перетаскивал пулемет все дальше и дальше вперед, кося им откатывающихся румын... И хорошо, что командир роты заметил это и выслал к Мею еще семерых моряков, иначе он был бы отрезан от своих.

Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью Третьего морского полка, и никто уже больше не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности, и представили мне его так: «который с чужим пулеметом в отдельном плаванье был»... В этом же бою произошло то, что командир батальона старший лейтенант Торбан, смеясь, назвал «стихийной контратакой».

Батальон отражал одну атаку за другой. Сильный автоматный огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, Торбану казалось делом трудным, и он медлил, выжидая хоть какой-нибудь передышки. Но далеко от

командного пункта, в девятой роте, командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степанову:

— А что, товарищ лейтенант, если самим на них кинуться?.. Прямо же терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут?

И в огонь, которого, казалось бы, не могут выдержать человеческие нервы, выскочили из окопа во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот разговор пулеметчик с канлодки Соболев. За ними, как один человек, тотчас кинулась вперед вся девятая рота. Увидев это, поднялась и соседняя — седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков и в соседнем, втором батальоне. «Черная туча» ринулась на атакующих румын и, спотыкаясь о вражеские трупы, наваленные перед окопами, покатила неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать! — рассказывал потом лейтенант Степанов, оживленно взмахивая веревочными вожжами (он взялся самолично доставить меня в соседний Первый морской полк на скрипучей мажаре, запряженной парой отбитых у румын коней). — Попрыгали сперва в свои окопы, а мы сбоку налетели, перекололи порядком, кто не поспел выскочить. Остальных гнали, гнали, восемь километров гнали, пока краснофлотцы не притомились... Тпру, черт!.. Извините, правый мотор отказал, — перебил он себя и спрыгнул с мажары, чтобы освободить заднюю ногу лошади от вожжи: лейтенант до зачисления в полк командовал торпедным катером.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелые немецкие батареи, державшие порт и город под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах у каждого моряка Первого и Третьего полков рядом с родной трехлинейкой лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой черный ствол и поджидая бывших хозяев. В Первом полку, куда привез меня Степанов, полковник Осипов как раз и уточнял количество трофеев.

— Да это я слышал, сколько вы сдали в трофейную комиссию. Вы мне скажите, сколько себе оставили? — добивался он от майора, командира первого батальона.

Майор конфузливо отводил глаза и убедительно прижимал руки к груди:

— Да самую малость, товарищ полковник, пустяки...

— Ну все-таки? Не отниму же я у вас!

— Как сказать... прошлый раз шестнадцать автоматов во второй батальон взяли?..

— Взял, потому что те только на минометы напоролись. Вам же три их миномета прислал. Ну, начистоту — сколько?

Майор томился. Полковник Осипов оглядел посадку. В зелени стояло штук тридцать трофейных ящиков с минами. Он открыл крышку первого. Но там вместо мин оказалась белая пышная курица, а в другом — кролик. Он, моргая, смотрел на полковника, и тот рассмеялся.

Рассмеялся и майор, а за ним засмеялись и краснофлотцы — пыльные, перемазанные землей (они подправляли румынские окопы).

— Румынское хозяйство, — пояснил майор. — Двенадцать кроликов, четырнадцать кур и один петух... Тоже прикажете в комиссию сдать, товарищ полковник?

За трофейной яичницей в бывшем офицерском блиндаже, когда разговор пошел неофициальный, майор наконец признался, что в батальоне насыщенность автоматным и пулеметным огнем, по его мнению, теперь достаточная и что штук двадцать можно передать молодому Третьему полку. Полковник Осипов усмехнулся.

— Ну, то-то... Только им не надо: они сами нам тридцать штук предлагают... Смотри, майор: морячки пришли что надо, как бы нашему полку не отстать...

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою Третий морской полк, только что сформированный из краснофлотцев, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще как надо применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости и инициативы. Вперед, только вперед — вот лозунг, с которым они ринулись в бой.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклистов и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней. Дважды, трижды раненные моряки не выходили из боя. Падали товарищи рядом — остальные шли вперед, горя мстью, горя давней матросской яростью. К упавшим подползали санитары и под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в неизвестные и непонятные рощицы, посадки, в заросли кукурузы, в сожженные и разграбленные деревни, шли, окруженные



врагами, в самую гущу которых с фланга ворвалась с моря эта «черная туча»...

Так две ночи и день шел через расположение врага Третий морской полк, пока не вышел на соединение с частями Приморской армии и с Первым морским полком полковника Осипова. Красноармейцы, увидев в кукурузе запыленные и обожженные боем черные фигуры, встретили их радостными криками: «Ура! Моряки!»...

С осиповцами встреча вышла более любопытной.

Трое разведчиков Третьего полка, пробираясь на второй день по кукурузе, заметили в ней шевеление. Они присмотрелись и увидели шесть человек в камуфлированных плащ-палатках. Румынские автоматы торчали из-под вражеского этого одеяния. Разведчики шепотом посоветовались: шестеро, а может, там еще кто притаился?.. Но проверить надо, на то и разведка.

Моряки, наклонив штыки, выскочили из кукурузы и кинулись через прогалину во весь рост.

— Сдавайтесь, руманешти! Моряки идут!.. Матрозен, матрозен!..

Из кукурузы охотно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятия. Моряки на бегу переглянулись: сдается, факт!.. И вдруг «румын» закричал на русском языке:

— Славному Третьему морскому полку ура!

И кукуруза подхватила «ура», и из-за шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащах, и трудно было понять, кто кого «брал в плен» — так переплелись дружеские объятия. Связь между двумя полками морской пехоты, разделенными врагом, была установлена.

Когда первый восторг встречи улегся, моряки Первого полка спросили:

— Чего же вы, орлы, на нас кинулись? Ох, и напугали, вот напугали...

— А черт вас догадал так обрядиться, — недовольно сказали моряки Третьего полка. — Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, что на штык вас решили взять, а то бы подырявили пулями...

— Да мы вас уже полчаса в кукурузе рассматриваем, — ответили «старички» осиповцы. — Бушлатики, товарищи, по-снимать придется. Война здесь другая... А что втроем в атаку кидаетесь — это по-нашему, по-осиповски. Значит — сдружимся.

И через несколько дней краснофлотцы Третьего морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку незаметно ходить, и прикрывать черную матросскую робу защитной гимнастеркой или плащом. Одному не изменили новые бойцы: верности флотским традициям, идущим от «Потемкина», от штурма Зимнего дворца, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе,— мужеству, напору, верности Родине, готовности быть всегда и всюду первыми.

И грозное слово «черная туча», родившееся в исторической обороне Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, пошло гулять по фронтам Отечественной войны всюду, где навстречу врагу появлялись яростные и гневные полки морской пехоты.

На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, — неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках.

Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял Гусар и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что Гусар был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, шелканье соловья, шипение гранаты, лай

щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

Гусара объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, крик утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста, самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, Гусар устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл Гусар остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом



пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненного под охраной и кинулись на свист соловья.

Гусар лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку и здесь был неравный бой.

Гусар не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжело и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с Гусаром.

Гусар все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию.

Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.

Знакомство наше было необычным. В свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую пыль, разговаривать на воздухе было неуютно. Поэтому моряки-разведчики пригласили зайти в хату. Мужественные лица окружили меня — загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обойм. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрывал сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

— Воюешь? — сказал я, похлопывая его по щеке. — Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать, — ответил разведчик тонким голосом.

— Ну?.. Прибавляешь небось, чтоб не выгнали?

— Ей-богу, восемнадцать, — повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

— Ну ладно, пусть восемнадцать, — сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке. — Откуда ты появился, как тебя — Ваня, что ли?

— Та це ж дивчина, товарищ письменник! — густым басом сказал гигант. — Татьяна с-под Беляевки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собрались в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокочущий, как самолет: это под самым потолком



низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

— Не вы первый! — сказал гигант, отдышавшись. — Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьян — морской разведчик.

...Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба. Девушка пришлась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы, и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскировки и страстное желание сохранить флотский вид, — столкнувшись, породили эту необыкновенную форму.

Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ — гигант комендор с «Парижской коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные, — и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и Татьян теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель, только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что видела

в Беляевке перед побегом, и ясные ее глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мной девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаше, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» — бывший киномеханик, районный сердце-ед — первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

— Оце бачив? — спросил он негромко. — Що она тебе — зажигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких соленых шуток, от обид и приставаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо — любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания — гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба — в ярость, нежность — в силу. Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дожидаться их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки

прижались к скале, но пули шелкали все ближе — румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было. Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде — со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырщ был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

— Яку дивчину загубили... Эх, моряки...

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь — целомудренную, скромную, терпеливую, — он говорил о Татьяне. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос, и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала

Татьяна-девушка, так не похожая на «разведчика Татьяна» — нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он сберег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда Татьян снова будет Таней. Но мечта была в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе... Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принесли Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она была по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне. Он поднял на меня мутнеющий взгляд.

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, нехай про то не чуе... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской коммуны».

Из глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то помешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, шурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на животе в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забило гулко и часто. Ни волевым напряжением, ни ровным дыханием нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один — в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножию сосны, ударил о снег и погрузил в это забытье.

Ночью их было двое — сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они подобрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, два друга, два

удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда. Вон в той заросли ельника они пролежали полчаса, а может быть, час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя, еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять-десять минут, уверенный, что Коля вернется,— не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарядит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием Ситин сказал: «Полно кукушек... давай по ельнику... пощупаем, что справа...» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо. И, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание.

Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне, в какую-то яму, и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник, снег и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за

ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи — на это не хватило бы тепла. Его и так мало оставалось в теле, намерзшемся за долгие часы забвения.

Солнце переползало по пышным елям, двигалось вокруг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, запах вишен, журчанье у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знал. Он думал только о темноте — любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин.

И не нужно будет считать удары сердца, искать, как переместилась тень от сосны. Не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было невыносимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханьем завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыханье. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напряг мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатиисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, об-

вязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночью по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: теперь снайперу было не до шевеления ели: осколки свистели по лесу и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплос обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырытую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели.

Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку, искал оружие. Граната снова попала ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунул голову и осмотрелся не таясь. Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился — и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово «кукушки». Здесь висели повешенный на сук автомат, обоймы, мешок с продовольствием, бинокль, фляга — все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот.

— Толково наши бьют, — сказал он громко. — Где ж им под таким огнем усидеть...

И он поудобнее устроился на ветвях, взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер



опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст, видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены...

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты — четверо — шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали: двое на первый труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на снегу, рядом с телом Ситина, черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями: вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась, — очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь расколосось, и вокруг завизжали осколки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман, и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику, обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели.

(Из фронтовых записей)

Шутливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полосы «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа» — полосатая тельняшка — означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка, — веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына Родины.

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофло-

тец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

ФЕДЯ С НАГАНом

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в Третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, оттуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые



сине-белые полосы флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого был выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что сделал в бою безвестный черноморский моряк, который так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полосы тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

НЕОТПРАВЛЕННАЯ РАДИОГРАММА

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду.

Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его встретил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледенел — и сколол лед. Он набрал внутрь воды — и откачал ее. Но задание он выполнил.

Когда же он возвращался, ветер переменился и снова дул

навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.

Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.

Двое суток моряки слышали эти поиски, но ответить не могли.

На катере между тем шла жизнь. Командир его, старший лейтенант Попов, прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться — и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы, поглаживая налитые водой желудки, отвечали, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.

В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по двое краснофлотцев, широко расставив ноги и держа в руках ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, «выключенном из качки», отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили наконец порцию горючего для передачи одной короткой радиогаммы.

Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и приготовлен на случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:

«...числа... часов... минут вражеский берег виден в... милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет Родине тчк Командир военком команда катера 044».

Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место — и сообщение, что радио работает в последний раз и что катер надеется на помощь.

Она пришла своевременно.

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки Третьего морского полка уничтожить связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носа и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, — рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен» — и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессиленного от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватило сил. Тогда он схватил гранату (запал которой уже был вставлен) и стал бить солдата по голове. Но видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли

оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меня шарики в глазах запрыгали,— рассказывал потом Королев.— Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся... Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне... Я снизу его бью по черепу, и развернуться неловко, и сил нет... А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала,— как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность, ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню...

Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат — и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.

Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя и обоих врагов.

— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю: думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой... Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза два и в глазах вовсе



потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки выются. Бросил солдат мой автомат — и тикать! Коровников его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне... А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру один батальон Третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.

И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.

— Что за черт! — сказал он недоверчиво. — А ну-ка, гляньте в снайперский прицел; он посильнее: никак там морячок французской борьбой с фашистом занимается.

В прицел рассмотрели, что это был и точно моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.

СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно высоком небе.

Именно оттуда, с высоты, и свалился на него «Мессершмитт-109».

Первым его увидел штурман Коваленко. Он посмотрел, сколько мог, и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти поближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.

— Знаю, — ответил Попко. — Будем вертеться.

И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как раз тогда, когда они готовы были впиться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, невозможные для

его типа. Пока что это помогало: она набрал только несколько безобидных пробоин в крылья.

Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет безоружен. Но видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась теперь к тому, что «мессершмитт» старался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.

Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел самолет прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.

Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыльям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце, очень крупной и медленной шрапнелью. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.

«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновение потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо сберегая горючее для возвращения.

Радист передохнул и вытер со лба пот.

— Отвалил фриц,— доложил он летчику и любопытно спросил: — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?

— Нечем нам тут стрелять,— ответил в трубке голос Попко.— Я и сам удивляюсь, с чего он отскочил?

Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:

— Это я его отшил. Злость одолела, ишь как подобрался, стервец!.. Черт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?

— Кого это — их? — не понял Попко.

— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал, пачки-то увесистые!..

И весь экипаж — летчик, радист и штурман — захохотал. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае, он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.

Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и постепенно пошел к базе, совершенно один в чистом и очень приятном голубом высоком небе.

Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь Третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.

Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут, — сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!..

Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатиł прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию:

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью его по броне.

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну извините, что поднапутал...



И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах.

Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полосы «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:

— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершине наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает... Морская душа, точно...

И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла.

Казалось, можно было бы возвращаться, — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.

— А что, хлопцы, — раздумчиво сказал Абращук, — мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с ми́нами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям; пока хватит немецких мин.

И миномет бил по фашистам. Все ближе и чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпаться краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже выдавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразлично перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абрашук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка завезена в Крым Потемкиным, — уж, конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории, не то в порту, не то на складе металлолома, полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлечшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его

применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось бить по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и побряхтывая лафетом, старушка развернулась и установилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей... Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.

Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв

рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.

С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом... Понятно?

В самом деле, все было понятно.

ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так запись «14—9/1—2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат — Васильев из самолюбия не помечал: промах, не чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как отслеживает он тропки, как выползает на свою позицию на откосе скалы, — и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасность — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев». Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не



накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь «безработицей», плясал.

— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал, — ответил он, как бы извиняясь. — Тридцать семь... То есть, собственно тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил, — закончил Васильев. — Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. В-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков — автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров» — так мне рассказывали моряки исход этого боя.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет, — сказал он и стремительно пошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачивал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:

— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди... стало быть, все в порядке... — И он деловито добавлял: — Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях по отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью

и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним в Крым по этому же узкому перешейку, — была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.

Военком, видимо, разгадал его чувство, или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша, — сказал майор, и они опять надолго замолчали.

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произносить их было нельзя.

В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было — такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой, — сказал военком. — В море шторм, верно.

— Наверное, шторм, — ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и смотрел в море с таким неожиданным и живым любопытством,



что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.

— Военком,— сказал майор с неистребимой подначкой,— ты и вправду думаешь, что это море?

— А что же, степь, что ли? — обиделся военком.— Конечно море.

— Эх ты, морская душа! — покачал головой майор.— Моря от лужи не отличил!.. Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно,— честно сказал военком.

— Ну так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой и военкома.

Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехное существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту.

— Окопались? — спросил оживленно.— Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло — так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, пробиравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, непрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обливала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:
— Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по

нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала залита кровью.

Это было на бронекатере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

НА СТАРЫХ СТЕНАХ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирает выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальона комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. На носилках лежал комсомолец Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал на обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полосы на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад,— сказал он хрипло.— Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподнимаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.

ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами

по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.

Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дымные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетающих к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины, — лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей, — не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиogramмы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12-03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

«13-07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16-10. Биться нечем и нечем, открывайте огонь по компунку, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

Этот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее, дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

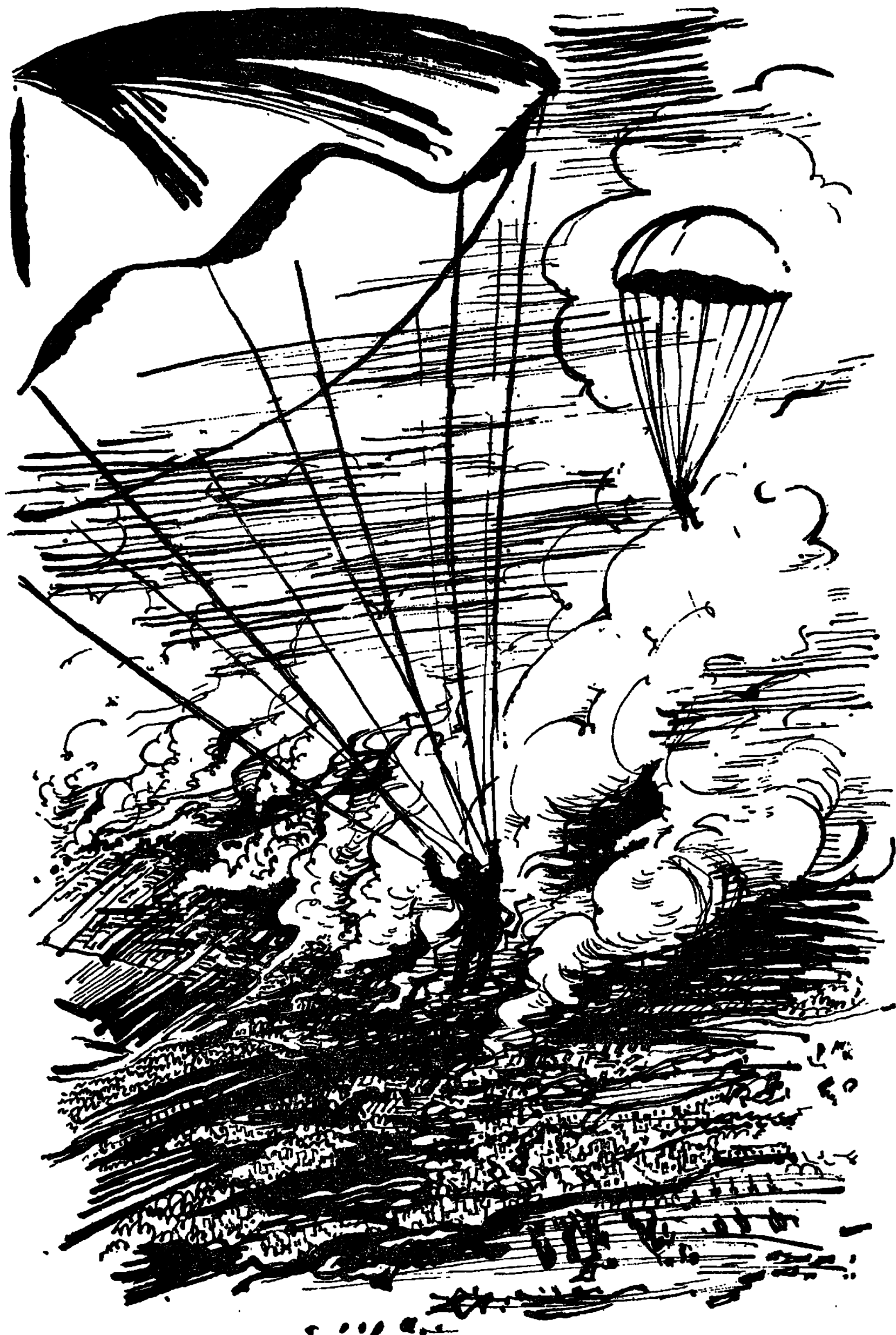
Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос, прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью: достаточно было и того, что при первой подготовке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из



мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер. В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завали мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, непрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негреба товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и зануло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расставаться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

— Это, друг, всегда успеется... Сперва перевяжу... Отсидемся; двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле, впереди за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть,— отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом.— Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим,— сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался.

Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — и с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади,— сказал вдруг Леонтьев.— Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал в траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он.— Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас поперет — только считай... Ну, теперь нас сила!



Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли,— сказал он.

И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот, и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьеву. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич,— сказал Негреба,— гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба.— Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только, чур, не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын

прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно. — А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов, — сказал он. — А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно, — сказал Литовченко.

— Ясно, — подтвердил Котиков.

— Точно, — добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Стукнул ночью офицера, — ответил Перепелица. — Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку. — Погано ихними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не справишься, а этим и лежа всех достанешь, — сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам. — Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно, — сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли, — негромко сказал Котиков. — Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покотившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседали на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату.

Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь

ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегающих солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И видимо, сами они поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

Мытье посуды, как известно, дело грязное и надоедливое. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат, в корне менявший дело. Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, но злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били на стеллажи, смывая с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям протиснулся с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожалые

снаряды (которые больше походили на патроны гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перебивая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдумано и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Филатов в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматику», построенную Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможно потом прочесть свои же каракули...

Военком слушал его, чуть улыбаясь, всматриваясь в блестящие смекалистые глаза и любопытно разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем на флот, он так же страдал душой, попав вместо грезившегося боевого поста на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратимая, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что Оле Чебыкиной



о посуде и точно не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а годок-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. И глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и, если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немного суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук,— сказал он обычным своим тоном, негромко и отдельно.— Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать... Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар,— ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего же тут непонятного? Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришло в голову угощать им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет? Он спросил еще, неужели на миноносце нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сакова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Саков — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапно наступившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, поглядывая на собеседника и тотчас отворачиваясь — как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сакова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого паренька не увидали. Наладьте ему занятия да зайдите в буфет: поглядите, что у него в голове...

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, умножал в уме тридцать шесть на сорок восемь. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце Андрея Кротких плотно и верно вошла любовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым, когда тот шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрачнел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.

Была тревожная походная ночь. Черное море сияло под холодной луной, и, хотя ветер был слабый и миноносец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное небо могло обрушиться на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промерз порядочно: подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую,— сказал он.— Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андрюша,— сказал он, называя его так, как звал в долгих неофициальных разговорах.— Спасибо, дорогой. Не до чая... И потом — всех не согреешь, они тоже промерзли...

Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на

корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики, командир орудия старшина первой статьи Гущев стоял в телефонном шлеме, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился.

— А где заряжающий? В чем дело, старшина?

Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не расслаживался.

В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.

Кротких смотрел на него, и ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоду, молчит и ждет,— и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина.

Разбор всего этого происходил в салоне после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Кротких,— и это было невыносимо. Жизнь казалась конченой: теперь никогда не скажет ему комиссар ласково «Андрюша», никогда не спросит, где в аккумуляторе плюс и где минус, никогда не улыбнется и не назовет студентом боевого факультета... Слезы подступали к глазам, видимо, комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что, будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды), и назвал это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил Родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем по другим причинам и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за

комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припухает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил наконец папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздраят... А вас придется перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом корабле не жить,— сказал он глухо. И голос комиссара вдруг потеплел:

— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы такого Сакова найдете, этак вся учеба у вас пропадет... Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет заберете, пригодится... Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело,— он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, помимо любви, существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж, конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить комиссара в шторм...

В этом своем горе, ревности и раскаянье Кротких повзрослел. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать, даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда — в кают-компании или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не



мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь не доставало. И постепенно Филатов, родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная — любовь.

Черное море показало свой грозный нрав: миноносец нырял в волне, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждал горячий кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту наверху сменяли через час — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мандарины и капуста. И люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в шторме — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю, его заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов-на-Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валилось из рук. Но потом головы стали подыматься, глаза — блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага, и Ростов встал на свое место в сложной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что разъяснил это комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара — не просто Филатова, хорошего, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова и партийную душу и совесть корабля.

По-прежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не к Пинохину, который пошел под суд, а к Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не совершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых, невыразительных слов и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами.

Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и на него даже не взглянули. Кротких пошевелил пальцами — и промолчал.

Однако когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заняла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата, — и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты, и пришлось отбиваться.

Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы



успевать брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили фашиста, нахально пикнувшего на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:

— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:

— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял — зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй — бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящику было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил другую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос

бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на поручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.

Тут кто-то крепко и сильно схватил его за плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет,— сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.

Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятие.

На этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.

Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в который раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь вопреки собственной воле был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный, свежий воздух без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими, и скупых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.



Они струились в отсеки из той балластной цистерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Цистерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же, как под наркозом каждый человек засыпает по-своему: один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натыкаясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истошным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных, и он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир, — молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаза — были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до

последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплыть, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток, и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: она дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пуль в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вдохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки... Пальцы его уже сжимали маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут.

Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка, — сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ старшина, — настойчиво повторил старшина. — Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидите...



Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше и яростный припадок рвоты потряс все тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина,— сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока,— сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском.

Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает,— сказал он сожалеюще.— Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче...

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь,— сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.

И старшина как будто угадал его чувство.

— Что ж мудреного, вы же похоже две ночи не спали,— сказал он уважительно.— Я и то на вас удивляюсь.

Он помолчал и добавил:

— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохнете, а к темноте я вас разбужу... А то вам и лодки потом не поднять будет...

Командир и так уже почти спал, сидя на разномыслии. Борясь со сном, он думал и взвешивал. Он отлично понимал, что, если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и людей. Он с усилием поднимал голову.

— Товарищ старшина первой статьи,— сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал «смирно»,— вступайте во временное командование лодкой. Я, и точно, не в себе. Лягу. Следите за людьми, может, кто очнется, полезет в люк отдраивать... или продувать примется... Не допускать.

Он помолчал и добавил:

— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— сказал старшина.

Командир снял с руки часы.

— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что... Меня разбудить в двадцать один час, понятно?

— Понятно,— повторил старшина, надевая на руку часы.

Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил как в бреду:

— Держись, старшина... Выдержи... Лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина...

Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.

II

Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственными телами, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя, но снова впали в бесчувственность. Однако он их заметил: это были нужные при всплытии люди—электрик, моторист и еще один трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не осталось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спите, товарищ командир, все нормально идет,— ответил он.

Но видимо, командир его не слышал, потому что повторял монотонно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что, несомненно, заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Дер-жись, стар-шина, дер-жись, стар-шина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо, и надоедливо звучали слова: «Держись, старшина». И вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку произвольной, цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно; что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, и погубить лодку. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолетов и светлые столбы встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам; пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.

— Держись, старшина,— сказал он себе вслух,— держись, старшина... Люди же держались...

Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.

— Еще и лодки ждете, чертовы дети?.. Прождетесь...— сказал он тихо и отчетливо.

Ярость эта как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетаскивать их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за раздрайку. Старшина быстро прошел к нему:

— С ума сошел? Кто приказал?

Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожиданной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал:

— Обожди... на минутку только... обожди...

Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.

Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если б не пустяк: старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз.— Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час,— повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку. Нетерпение охватило его.— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать,— повторил он, но командир очнуться не мог.

Он подымал голову, ронял ее обратно на койку и повторял: — Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час...

Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.

Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в цистерне зажурчала, и глубомер пополз вверх.

Лодка всплыла на ровном киле, и глубомер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется и все пойдет нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать не может. Свежий воздух стал нужен ему безотлагательно, сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скоб-трапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильнее. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить.

Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.



Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, залившей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода — было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились, — видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, — значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошел осматривать отсек и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство, и он понял, что делает что-то не то. Однако и этой щели оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас повернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотом, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остался единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес рубки, взгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход,— электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряженным и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний,— ответил он.— Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан,— сердито сказал старшина.

— Да я видел, что телеграф врет,— сказал электрик спокойно.— Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было некем, а ждать, когда к нему вернется сознание

полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенанту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.

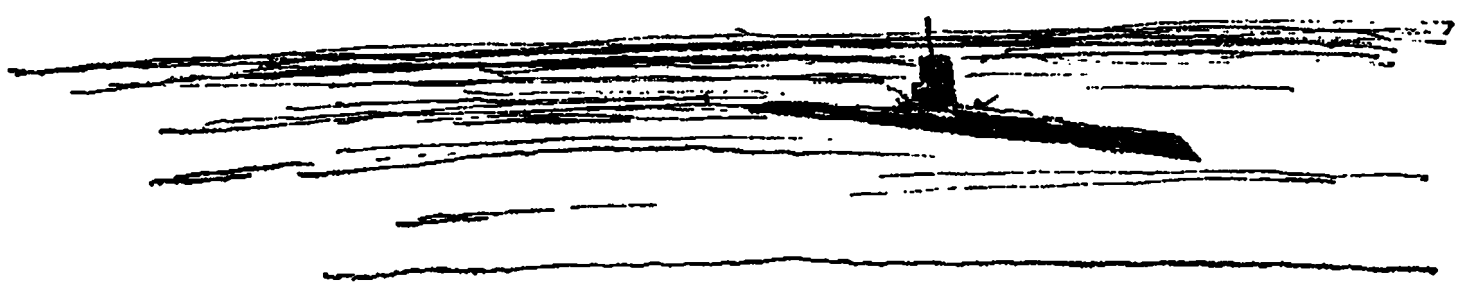
Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а отрывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними, один за другим, вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-то зашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть.

Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.

Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого он когда-то — казалось, так давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу, попросил разрешения стать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать.

И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие



шестнадцать часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.

Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку. Долго, без слов, командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.

И долго еще они стояли молча, слушая, как гудит и рокошет ожившая лодка, и подставляя лица свежему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, оберегая ее от врагов.

Потом старшина смущенно сказал:

— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть...

— Кончились неприятности, старшина,— сказал командир весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул ему часы.— Часики ваши... Надо думать, не починить... Стоят...

I

Под Одессой у моряков, сошедших с кораблей на берег для смертного боя, я встретил восьмилетнего мальчика с синими глазами. Ясные и открытые, они смотрели на мир со всей чистотой младенчества — любопытно и жадно. Он был сыном морского полка. Его подобрали в той деревне, откуда недавно выгнал фашистов короткий и страшный матросский удар. Ему справили ладный бушлатик, подогнали бескозырку и дали трофейный кинжал. Он совался не в свои дела, шалил, бегал, подбирал гранаты и патроны — настоящий ребенок своего возраста.

Но порой он садился у орудия, охватывал колени и замирал. И синие его глаза останавливались, и смертный взрослый ужас стоял в них неподвижно и холодно. Так холодно, что в первый раз, когда я это увидел, дрожь пробежала у меня по спине. Тогда капитан тотчас подходил к нему и, нежно приподымая, прижимал его к себе. Мальчик всхлипывал и рыдал, и скоро детские слезы вымывали из синих глаз ужас.

Эти синие глаза видели, как люди в чужой форме привязали его отца, председателя колхоза, к двум танкам и разорвали пополам.

II

Горе стоит над миром. Огромное человеческое горе тяжелой пеленой обволакивает земной шар. Он в огне. Жадное пламя войны перебрасывает языки через океаны, лижет материки и острова, пылает на экваторе и бушует у полюса.

Горе стоит над миром. Пылающий, стонущий, перемазанный кровью и облитый слезами старый земной шар вкатывается в Новый год. Миллионы раз начинала Земля свой очередной оборот вокруг Солнца. Но с тех пор когда люди стали вести счет этим оборотам, назвав их годами, никогда еще не несла на себе Земля столько человеческого горя.

Были мировые катаклизмы. Сползали с гор ледниковые поля, раздавливая целые племена. Проваливались в океаны материки, унося с собой целые народы. Но сама слепая стихия не причиня-

ла человечеству столько страданий, сколько рождено их сейчас злой волей людей, стремящихся к мировому господству.

В день Нового года первым моим словом было проклятие. Проклятие тем, кто поджег земной шар, кто подготовил и начал эту войну, кто вселил ужас в синие детские глаза.

Если бы я мог собрать в один образ, в одно слово все человеческое горе, порожденное фашизмом, все стоны и вопли, все жалобы на сотне языков, все слезы, страдания и молчаливые безумные взгляды, все последние короткие вздохи предсмертья, всю горечь расставания с жизнью, весь ужас потери близкого человека, все разрушенные фашизмом мечты — от большого замысла ученого до обыкновенной человеческой тоски по любимым губам, по родному теплу, все уничтоженные войной плоды человеческого труда — от огромного Днепрогэса до наивной авиамодели, сделанной детскими руками и раздавленной сапогом фашистского солдата, — если бы собрать все страшные уходы с родных полей, от хат, заводов, городов, все поруганные девичьи тела, разбитые головы младенцев, седые бороды, залитые кровью, и показать тем, кто облек земной шар в этот кровавый и слезный туман...

Но к чему?

Зверь и тот сошел бы от этого с ума. Эти люди не сойдут. Им не с чего сходить. В них нет ни человеческого ума, ни сердца. Сталь топора не чувствует, что она крушит живую ткань и обрывает человеческую жизнь.

Машина, сошедшая с ума, не была бы страшнее этих людей: у нее было бы меньше выдумки. Она бы просто убивала.

Оставим проклятия. Они бесполезны.

III

Группа больших советских военачальников пробиралась к осаждаемому фашистами городу. Рельсы оказались взорванными авиабомбой. Пришлось идти три километра, чтобы за мостом найти другой паровоз. Железнодорожная бригада отдала генералам свои пальто и кепки. «Так будет лучше, — сказали они, — того и гляди, из-за леса выскочит штурмовик, увидит форму...»

На мосту стоял часовой — обыкновенный русский старик с седой бородой, с нависшими лохматыми бровями. Винтовку он держал на ремне, словно собравшись на охоту. Разводящий,

тоже партизан, в ватнике и в картузе, дал ему знак — пропустить. Старик молча сделал шаг влево. Старший из военачальников, проходя, обратился к нему:

— Мост охраняешь, дед?

Старик покосился на него:

— Стою.

— Как у вас тут фашисты — нагадили здорово?

— Порядочно.

— Что ж, дед, придется тряхнуть стариной, наказать их, как бывало, а?

Старик обвел всех взглядом. Узнал ли он под кепкой машиниста живые и веселые глаза нестареющего воина, которого знала вся страна, — понять было нельзя. Ничего не изменилось ни в его тоне, ни в позе, когда он ответил:

— Нет. Изничтожить придется.

И, опять помолчав, добавил:

— Раздать нам каждому по одному. Лют на них народ.

И он отступил еще шаг, открывая дорогу и давая понять, что высказался полностью.

IV

Кто хоть краем глаза видел сгоревшие города, взорванные заводы, гибнущие поля и виноградники, кому встречались на шоссе молчаливые волны беженцев, кто видел опозоренных тринадцатилетних девочек и повешенных стариков, кому хоть раз доводилось привозить известие о гибели сына, мужа, брата, кто опускал в могилу боевого товарища — смелого, веселого, красавца, которому жить бы да жить, любить да трудиться, — тот всем сердцем поймет слова старика.

Синие детские глаза, расширенные ужасом, стоят передо мною, когда я подвожу итог кончившемуся году и думаю о том, что важнее всего пожелать на Новый год.

Было время — в этот новогодний вечер у миллионов людей были миллионы пожеланий. Каждый искал свою заветную мечту, тайное желание, самое дорогое устремление. Нынче человеческие судьбы слились в одно. Одно горе, одна беда. И одна причина.

И одна ненависть. И одно желание: разгром врага.

Разгром фашистских полчищ — это облегченный вздох человечества. Эти миллионы сохраненных жизней. Это конец

кошмара, которым долгие годы мучается земной шар, не в силах проснуться.

Разгром врага — это соединение семей, это улыбки детей, свободный труд, восстановление ценностей, нужных человеку для жизни. Это свет, воздух, вода, счастье, это жизнь!

Не вернуть нам погибших братьев наших, отцов, сынов и мужей, отдавших жизнь в боях за родину, за свободу советских народов. Но если что-нибудь может смягчить тяжкое горе — это только разгром врага, с которым они бились: значит, не даром пролили они драгоценную для нас кровь — она смывает с земного шара ползучую паршу фашизма и очищает мир для новых поколений свободных людей.



СОДЕРЖАНИЕ

НОЧЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ	5
ТОПОВЫЙ УЗЕЛ	23
ГРУЗИНСКИЕ СКАЗКИ	54
СВОЕВРЕМЕННО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ	63
ГОЛУБОЙ ШАРФ	70
«ЧЕРНАЯ ТУЧА» (<i>Из фронтовых записей</i>)	76
СОЛОВЕЙ	88
РАЗВЕДЧИК ТАТЬЯН	92
В ЛЕСУ	98
МОРСКАЯ ДУША (<i>Из фронтовых записей</i>)	104
БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ	132
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ	142
ДЕРЖИСЬ, СТАРШИНА	155
ОДНО ЖЕЛАНИЕ	171

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Соболев Леонид Сергеевич

**МОРСКАЯ ДУША
БАТАЛЬОН ЧЕТВЕРЫХ**

Ответственный редактор О. В. К у с т о в а
Художественный редактор А. В. К а р п о в
Технический редактор Т. С. Х а р и т о н о в а
Корректоры Н. Н. Ж у к о в а и Т. Г. Я н и н а

ИБ № 8915

Сдано в набор 11.02.86. Подписано к печати 30.06.86. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,23. Усл. кр.-отт. 10,7. Уч.-изд. л. 10,11. Тираж 100000 экз. Заказ № 2874. Цена 65 коп. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1. Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Суховский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Соболев Л. С.

С 54 Морская душа. Батальон четверых: Рассказы/
Рис. и оформл. Ю. Далецкой и Л. Башкова.— Л.:
Дет. лит., 1986.—175 с., ил.

В пер.: 65 коп.

Широкоизвестные рассказы о военных моряках - защитниках Родины, об их мужестве, дружбе и взаимной выручке в бою.

С 4803010102—167
М101(03)—86 (15)—86

Р2

